

Сергей Белоконь

Синий Магистр

Московская школа
политических исследований
2013

ББК 63.3(2)521.2-7

Б 43

Дизайн обложки *Анны Хохловой*

Книга издана при поддержке В.А. Федотова, Стокгольмского института переходной экономики (SITE), группы компаний «Рольф».

Б 43 **Сергей Белоконь.** Синий Магистр. М.: Московская школа политических исследований, 2013. — 208 с.

Эта книга — литературное повествование о жизни и творчестве русского педагога-гуманиста, просветителя, литератора Януария Михайловича Неверова (1810–1893). Он был близким другом Н. Станкевича, Т. Грановского, его знали и высоко ценили Н. Гоголь, И. Тургенев, В. Белинский, А. Герцен и другие выдающиеся интеллектуалы той эпохи. Особую известность и благодарность современников и потомков Я. Неверов снискал своей деятельностью на ниве народного просвещения, в частности на Ставропольской земле. Здесь особенно ярко реализовались его новаторские педагогические идеи духовно-нравственного развития детей, формирования в школе благоприятной среды для усвоения цивилизационных навыков и идеалов.

ББК 63.3(2)521.2-7

ISBN 978-5-91734-038-8

© Московская школа
политических исследований, 2013

Содержание

<i>Предисловие издателя</i>	4
Вступление	8
Москва. Годы учения	20
Праздник молодой	44
Верный «Генварь»	55
Клятва	95
По новому пути	106
Спор о России	118
По новому пути (<i>Окончание</i>)	140
Париж Кавказа	145
Кастальский ключ	185
Эпилог	193
 <i>Приложение</i>	
А.С. Трачевский. О значении синонимов в связи с вопросом об изучении языка	199
 <i>Именной указатель</i>	 206

Предисловие издателя

Эта светлая и грустная одновременно книга о забытом в наши дни талантливом русском педагоге Януарии Михайловиче Неверове (1810–1893).

Что побудило этого человека стать педагогом (лат. *magister* — наставник, в дореволюционной России — ученая степень, присуждавшаяся выпускникам университета, защитившим диссертацию), а не революционером, как многие его современники? А ставропольского журналиста и писателя Сергея Владимировича Белокопя (1952–2000) — рассказать о его жизни?

Отвечая на эти вопросы, процитирую вначале А.С. Пушкина — из его «Заметок по русской истории XVIII века», написанных в августе 1822 года в Кишиневе.

«Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. [...] все состояния, окованные без разбора, были равны перед его *дубинкою*. Всё дрожало, всё безмолвно повинилось»*. И страницей ниже: «Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же наша политическая свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы».

* Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10 т. Т. VIII. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — С. 122.

Однако «желание лучшего» и надежды декабристов (друзей Пушкина) на «твердое мирное единодушие», способное поставить Россию в один ряд с просвещенными народами Европы, когда после смерти Александра I они вышли на Сенатскую площадь, чтобы потребовать у членов Сената и Государственного совета обнародовать «Манифест к русскому народу», в котором провозглашались отмена крепостного права и гражданские права и свободы, как известно, не оправдались.

Самодержавие и просвещение — вещи несовместимые, замечает по этому поводу Натан Эйдельман в своей книге о декабристе Михаиле Лунине. «Просвещая, Петр подводит мину под всевластие Романовых, но мину замедленную... Более просвещенные будут покамест слушаться даже лучше, чем прежние невежи, петербургская дубинка крепче московской»*. А философ Мераб Мамардашвили в годы перестройки в одной из своих лекций скажет: «Петр I так пустил свой корабль государственности по пути прогресса, что его условием стало колоссальное расширение крепостничества. Согласно известной формуле: люди должны быть инициативны и изобретательны и при этом абсолютно послушны»**.

Так каким же образом после разгрома движения декабристов можно было сочетать то и другое, покорность и инициативу в условиях сохранявшегося государственно-бюрократического контроля, породившего такие «исторические сцепления», в результате которых люди стали относиться к окружающему миру, включая власть, как к некоему существу, которое будто бы награждает их за некие заслуги либо является источником специально направленного против них зла.

Для «Синего Магистра» такого мира, судя по его биографии, не существовало, так как он считал, что мир творится в наших головах, и человек должен учиться думать, чтобы стать *личностью*.

* Эйдельман Н. Лунин. — М.: Молодая гвардия, 1970. — С. 8. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий.)

** Мамардашвили М. Эстетика мышления. — М.: Московская школа политических исследований, 2000. — С. 216.

Признаюсь, я узнал о Неверове случайно, после проведенного Школой семинара в Ставрополе, когда один из его участников посоветовал мне найти в Интернете и посмотреть посвященную Неверову книгу «Глагол будущего», изданную Ставропольским государственным университетом. Я нашел ее и был поражен прежде всего ее объемом (более 1000 стр.). Оказалось, что кроме собранных и переизданных его философских, педагогических и литературно-критических работ в ней опубликованы также сочинения воспитанников Ставропольской губернской гимназии, директором которой он был в 50-е годы XIX века, и исследования разных лет о самой гимназии.

В предисловии к «Глаголу будущего» говорится: Ставропольская гимназия была в те годы, возможно, лучшей в стране, и это притом что Ставрополь был провинциальным городом южной окраины России, а образовательная система только начинала складываться. «Привел же в движение умы гимназистов Януарий Михайлович Неверов, просветитель, педагог, философ, литератор. Это имя должно быть вписано золотыми буквами в историю нашего богатого событиями, в том числе культурными, но всегда исторически беспокойного края», — подчеркивает филолог, профессор Клара Эрновна Штайн. Неверов был членом кружка Н.В. Станкевича, другом Грановского и Тургенева. Воспитание, считали члены кружка, — «преображение души, развитие разума, воли, чувства человека... То, что А.И. Герцен, В.Г. Белинский, И.С. Тургенев воплощали в литературном творчестве, Я.М. Неверов претворял в жизнь, реализовал в конкретной деятельности... В развитии и преобразовании крайне отсталой в то время России главная установка делалась им на образование, основанное на реальных достижениях европейской цивилизации»*.

Современный человек, заключает К.Э. Штайн, может многое почерпнуть из биографии Я.М. Неверова и его трудов, но главное, из работ его учеников — конкурсных сочинений

* Глагол будущего /Под ред. д-ра филол. наук, проф. К.Э. Штайн. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007. — С. 16.

гимназистов*. «Они убеждают в подлинной действительности философско-педагогической системы Я.М. Неверова и преподавателей, его сподвижников, дают реальные примеры того, что может сделать образованный творческий педагог даже в самые неблагоприятные для просвещения времена».

Возвращаясь к Пушкину, напомним, что в 1826 году по распоряжению Николая I, которое имело для Пушкина характер политического экзамена — он должен был осудить существующую систему воспитания, как явившуюся причиной декабристского движения, поэт пишет записку «О народном воспитании» и отправляет ее царю. Царь ее прочитал, и на основании его устного отзыва Бенкендорф отправляет поэту письмо с нравоучением: «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочтеть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному»**.

Не вдаваясь в анализ записки, скажу лишь, что под «народным воспитанием» Пушкин, как и впоследствии Неверов, имел в виду, разумеется, не просвещение умов с помощью бесполезных знаний, а *воспитание историей*, полагая, что именно отсутствие такого воспитания рождает своеволие мысли, порчу нравов и в конце концов распад общества. То есть, иными словами, отсутствие «деятельных умов», готовых и способных реализовать свое призвание, проходя жизненный путь и извлекая опыт. Ибо историческим и, следовательно, человеческим является только *извлеченный* опыт, и только благодаря ему можно, на мой взгляд, постепенно преодолеть дурное повторение одного и того же в нашей стране.

Ю.П. Сенокосов

* См. Приложение.

** Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 664.

Вступление

1

Как много может вместить одна жизнь!

Холодные петербургские вечера располагают к размышлениям. Укрыв пледом ноги, он привычно усаживался в кресло у рабочего стола, нащупывал на обычном месте перо и стопку бумаги. У него теперь было достаточно времени, чтобы перебрать, как четки, события давно минувших дней.

Милые тени оживали в сознании, порой настолько явственно, что, забывшись, он заговаривал с ними, о чем-то спрашивал...

Но не получал ответа.

Только мерный бой часов да скрип полозьев под окнами нарушали тишину. Жизнь прошла. И было больно от того, что не сбылись горячие юношеские мечтания о вечной дружбе и любви.

Весна обманная.

Он пытался плакать, но слезы, видно, давно кончились. Только в незрячем оке что-то начинало нить и дергать.

Успокоившись, он подвигал чистый лист бумаги и пытался писать.

Может быть, потомкам будет небезынтересна — нет, не его незаметная и скромная деятельность, а жизнь людей, с которыми довелось ему дружить. Но руки противно дрожали, буквы выходили неровные,

наползали друг на дружку, потом вдруг расплывались в одно серое пятно.

Неужто пора ставить точку?

«При моем совершенном одиночестве, конечно, предстоит мне самая печальная будущность, — продиктовал он однажды духовное завещание, — слепота и смерть на чужих руках, где-нибудь в больнице, а потому нечего делать распоряжение о моих похоронах, которые должны быть самые скромные. Все, что нужно, — простой гроб и один священник, мой духовник. О памятнике и говорить нечего — к чему он? Кто придет на мою могилу?».

2

Имя Януария Михайловича Неверова сегодня мало о чем говорит даже специалистам в области литературы, истории и педагогики, хотя редкое издание, посвященное общественно-политической и художественной жизни России 40–50-х годов XIX века, обходится без ссылки на него.

Друзьями Неверова были видный общественный деятель и философ Николай Станкевич и выдающийся историк Тимофей Грановский.

Он был близко знаком с Герценом и Белинским, Тургеневым и Кольцовым.

В его записных книжках встречаются имена Жуковского, Гоголя, Одоевского, Панаева, Веневитинова, Венецианова, Языкова, Бакунина, Данилевского, Гребенки.

Неверов немало сделал для пропаганды и изучения творчества Пушкина и Лермонтова.

Его духовными питомцами можно считать Коста Хетагурова, первого переводчика на русский язык

«Капитала» — Германа Лопатина, революционного демократа Николая Воронова, видного историка Александра Трачевского.

Переписка Николая Станкевича, значительная часть которой обращена к «милому Генварю», как известно, высоко оценена Львом Толстым.

Однако не только и не столько эти факты привлекли наше внимание к герою данного повествования. Судьба не особенно благоволила ему при жизни. В кругу людей выдающихся он являлся звездой второй величины. Их свет затенял его скромную фигуру.

Он всегда был — рядом.

Нет, заслуг Неверова никто, конечно, не отрицает, но в оценке его личности и деятельности нет-нет да и проскользнут нотки снисходительности. Был, дескать, в лагере демократов, потом скатился в болото либерализма. Короче, несостоявшийся человек.

Если бы все было так просто и однозначно!

Материалов о Неверове собрано немало. Казалось, их с избытком хватит на роман, а не то что на краткое жизнеописание. Но чем больше деталей и частных выплывало, тем непонятней и загадочней становилась личность героя.

Синие очки словно скрывали его истинное лицо.

Линия жизни прерывалась, чтобы проявиться в самом неожиданном месте. Оставим за собой право домыслить эти пробелы.

Итак, усадьтесь поудобнее, читатель, ибо нам предстоит неблизкое путешествие. Представьте себя в рессорном экипаже. Рядом — сухой, немного чопорный старик. Это тайный советник Януарий Михайлович Неверов, кавалер орденов Святой Анны и Святого равноапостольного князя Владимира, а также ордена Белого орла. Пред тем как предстать «у врат всевыш-

него», отправляется он еще раз по городам и всяем своей судьбы.

3

Михаил Гаврилович Неверов служил секретарем Ардатовского земского суда, однако вследствие какой-то неприятной истории был вынужден оставить должность. Поиски работы привели его в Верякуши, где он некоторое время управлял делами помещика Кашкарова. Здесь-то и состоялось его знакомство с побочной дочерью последнего — Александрой Петровной.

О, это была романтическая история с побегом и тайным венчанием!

Старик был взбешен.

Но, к сожалению, вскоре стало ясно, что взаимное чувство супругов погасло едва ли не вместе с венчальными свечами.

Разочарование. Сцены. Слезы. В семье мужа к Александре Петровне относились неприязненно, называя ее за глаза «большой барыней». Еще не родившийся Януарий стал жертвой этой неприязни.

...В последние месяцы беременности разразился очередной скандал, мать Михаила Гавриловича запустила в невестку тарелкой. Испуганная Александра Петровна бросилась вон из комнаты, споткнулась о порог и сильно расшиблась. Ребенок, появившийся на свет через несколько дней, оказался с громадным кровоизлиянием на голове. С большим трудом врачам удалось спасти его жизнь, но Януарий ослеп на один глаз.

Вот почему впоследствии он был вынужден носить синие очки, что послужило Александру Ивановичу Герцену поводом назвать его «синим магистром». Впрочем, вернемся к чете Неверовых.

Их сосуществование в течение нескольких лет можно сравнить разве что с жизнью пауков в банке. Михаил Гаврилович искал поводы для придирок. И, естественно, находил их. Затеял процесс о Кайбичевском имении жены, постоянно брюзжал, нервничал, повышал голос, а то и поднимал руку.

«Хватит», — решила однажды Александра Петровна и, захватив с собой пятилетнего Януария, вернулась с повинной в Верякуши.

Ее простили.

Между супругами началась война.

Когда Януарий подросток, Михаил Гаврилович судебным порядком вытребовал его в Арзамас под предлогом, что сын должен получить образование.

В июне 1825 года Януарий закончил курс в уездном училище, а еще через несколько месяцев его определили на службу.

Михаилу Гавриловичу предложили место секретаря Нижегородского городского магистрата, но так как глава несостоявшегося семейства находился под судом и не мог занять вакантную должность, решили зачислить на нее мальчика с тем, чтобы старший Неверов вел дела, а младший подписывал бумаги.

4

Интересно знать, как бы почувствовали вы себя, милостивый государь, ежели бы вас в пятнадцать лет приковали к столу в грязной и скучной комнате магистрата? Разве ваша душа шевельнулась бы от переписывания казенных бумаг, когда на улице жизнь бьет ключом, когда модные лавки полны невиданных доселе разностей, о существовании которых Януарий и не подозревал в Верякушах и Арзамасе, когда, нако-

нец, дома его дожидается французский роман, превранный на самом интересном месте?

Конечно, и на вас напала бы жестокая гипохондрия, милостивый государь. И я уверен, что вы не осудите строго Януария за то, что прямо в присутственном месте он стал показывать знакомому чиновнику танцевальные па, виденные у деда, за каковым занятием их застал сам бургомистр.

— Позвольте!

Не успел бургомистр договорить фразу, как серыми мышками метнулись они по своим уголкам.

Хорошо еще, что дело ограничилось устным выговором да хихиканьем вслед незадачливым кавалерам, мечтавшим посредством изысканных манер покорить сердца местных красавиц.

Ах, мечты-мечты!

С присущей детству доверчивостью тянулся Януарий навстречу жизни. Хотелось быть красивым, сильным, умным. Хотелось петь серенады под балконами и, как перепелок, насаживать на шпагу неудачливых соперников. Много чего хотелось.

Дни между тем тянулись медленно. Обозно.

Стол. Помадная баночка, приспособленная под чернильницу. Приглушенные голоса просителей за дверями и — бумаги, бумаги, бумаги... Они напоминали Януарию начертания судьбы.

Человек ушел — остался листик или два. И эти листики теперь ведут самостоятельное существование. Не листик уже зависит от человека, а человек от листика...

Чем старательней пытался Януарий выполнять поручения батюшки, тем больше несообразностей выходило из-под его пера.

А Михаил Гаврилович стал совсем как порох.

Оно и понятно: фортуна окончательно повороти-лась к нему тылом. Прояснившийся было небосвод вновь обложило тучами.

Губернатора, благоволившего Неверову-старшему, сменили. Новый же невзлюбил его за что-то и искал повод отстранить от должности.

Новая метла метет по-новому. И вымела.

В делах Михаила Гавриловича обнаружились упущения, и Януарию предложили подать в отставку. Почти без средств вернулись они в Арзамас, где болезнь, приключившаяся с родителем еще в Нижнем Новгороде, победила. В марте 1827 года тело Михаила Гавриловича предали земле.

Шел дождь. На дне ямы скопилась вода, так что гроб почти на вершок погрузился в мутную жижу.

5

Беда одна не ходит.

Матушка, у которой после возвращения из Нижне-го поселился Януарий, тоже едва сводила концы с концами. Кайбичевское имение было расстроено и почти не давало доходов. Вдобавок умер Петр Алексеевич Кашкаров. Старик хоть и был своенравен, однако ино-гда поддерживал деньгами.

А тут хоть волком вой.

Александра Петровна таяла на глазах.

Из комнат не выветривался аптекарский запах.

Единственная надежда — на Януария. Несколько раз она заводила разговор, что при желании в Арзамасе можно подыскать для него подходящее место. И обры-вала речь, поднося к глазам батистовый платочек.

Скажем прямо, Януарий довольно смутно пред-ставлял себе будущее жизненное поприще.

Он не знал, чего хочет. Однако короткого пребывания в магистрате оказалось достаточно, чтобы разобратся, чего не хочет.

Однажды Нурка (так его звали свои) заявил, что пойдет учиться в университет.

Смех и только, а он стал на своем — не сдвинешь:
— В университет.

Впоследствии выяснится, что Януарий не знал даже, что скрывается за этим исполненным соблазна и учености словом. Оно звучало для него так же абстрактно и желанно, как для верующего слово «рай».

Материнское сердце — воск.

На какие жертвы ради родного чада не пойдешь? Продала Александра Петровна единственную свою драгоценность — венчальный жемчуг. 500 рублей — не такая большая для Москвы сумма, но на первое время хватит, тем более что Януарий надеялся попасть в число казеннокоштных студентов.

Вперед, дорога! Выпрямляй спину, носи Януария в большой мир из тихого деревенского захолустья.

В Москву!

Назад он уже не вернется.

6

Януарий ступил на московскую мостовую 15 сентября 1827 года. Эту дату можно считать концом его детства и отрочества. Отныне для 15–16-летнего юноши начнется новая, полная трудностей жизнь. (Мы пишем 15–16-летнего, потому что, по свидетельству самого Неверова, для зачисления в должность секретаря Нижегородского магистрата ему прибавили лет в документах.)

Известно, что в этом возрасте завершается формирование характера, закладываются основы мировоззрения. Конечно, глубоких систематических знаний у Януария не было. Да и откуда им было взяться, если читать он выучился у крепостных девушек, игре на фортепиано — у наложницы деда Феоктисты Семеновны, французскому — по самоучителю. Много ли мудрости мог почерпнуть он из куртуазных и рыцарских романов?

Какой пример видел в лице крепостника деда, матери и отца, если в их жизни почти начисто отсутствовало духовное начало?

«В той среде, в которой я вращался, — вспоминал он, — не только не поднимался вопрос о карьере, о будущей деятельности, но даже о средствах существования. Помещики довольствовались доходами со своих имений, не думая даже об увеличении их, дворня обоюго пола — всего ожидала от помещиков, крестьяне — от более или менее хорошего урожая, — все жили настоящей минутой, не заботясь о будущем, не преследуя никаких идеалов...».

Что же вынес, вопреки обстоятельствам, Януарий из детства? Наблюдательность и трудолюбие, решительность и душевную чуткость, жажду к знаниям. В этом хрупком юноше неожиданно обнаруживаются редкие воля и настойчивость в достижении однажды поставленных целей.

В его жизни будет немало событий, которые заставят вносить во взгляды и поведение коррективы, довольно резкие. Однако вопреки всему он сумел сохранить свои лучшие черты, постоянно работал над самосовершенствованием.

Итак, не благодаря, а вопреки.

Отсутствие духовного общения в детстве оформится в острую потребность дружбы, преданность в ней.

Физическая неполноценность и издевки сверстников научат чутко прислушиваться к чужому горю и сопереживать ему, как собственному.

7

В воспоминаниях «Страница из истории крепостного права», опубликованных в одиннадцатом номере «Русской старины» за 1883 год, Неверов рассказывает об одном эпизоде, потрясшем его настолько, что и по прошествии шестидесяти лет, будучи семидесятилетним стариком, он вспоминает о нем с поразительной свежестью нравственного чувства.

...В Верякушах мальчик рос среди дворни. Дед и родители мало внимания уделяли его развитию. Особенно сдружился Нурка с конюшим Федором. Среди «гаремных девушек» была Афимья, нравившаяся Федору. Его чувство не осталось безответным. Старик Кашкаров, конечно, не разрешил бы этого брака. Не видя другого выхода, влюбленные решились на отчаянный шаг. Однажды вечером, в условленное время, Федор подал к задней стене дома тройку. Афимья, сказавшись больной, вышла подышать свежим воздухом...

Естественно, исчезновение девушки скоро обнаружили. Хватились и Федора...

Тотчас Кашкаров отправил погоню по всем дорогам. Далеко ли убежишь из захлопнутой мышеловки? Беглецов наутро привезли в Верякуши. Взбешенный крепостник придумывал им наказания одно суровее другого.

Афимью «посадили на стул». Так называли жестокое истязание, заключающееся в том, что на шею жертвы надевали железный ошейник, к которому небольшой цепью прикреплялся огромный деревян-

ный обрубок. Перейти на другое место наказанная могла лишь с посторонней помощью.

Кроме того, вверху у ошейника торчали острые спицы, препятствующие наклону головы. Только на ночь несчастной подкладывали под затылок подушечку, чтобы она могла ненадолго забыться.

Федора было велено высечь до полусмерти.

— Валяй его, — злобно потирал руки Кашкаров, — ожги сильней!

«Сцена эта произвела на меня такое потрясающее впечатление, что с тех пор рука моя осталась чиста на всю жизнь: она не иначе прикасалась к человеку, как с лаской», — вспоминал Неверов.

Все сказанное касается внутренней жизни нашего героя. Нельзя, однако, понять микромир души в отрыве от макрокосма эпохи, вне исторического контекста.

Детство Януария Михайловича совпало с периодом, невероятно густо насыщенным событиями. Отечественная война 1812 года, взлет патриотических чувств и рост недовольства политикой Александра I, образование тайных обществ, декабрь 1825 года...

Картечь на Сенатской площади разорвала время.

Мятежники закованы в железа, истреблены, рассеяны по медвежьим уголкам.

Наступила эпоха казармы и крючкотворства, когда малейшее движение мысли тотчас натягивало нити невидимой паутины, которой опутал страну всемогущий шеф жандармов, начальник III отделения Канцелярии Его Величества граф Александр Христофорович Бенкендорф.

Как писал впоследствии Герцен, характеризуя мрачные годы реакции, «картина официальной России внушала только отчаяние: здесь Польша, рассеянная во все стороны и терзаемая с чудовищным

упорством; там — безумие войны, длящейся все время царствования, поглощавшей целые армии, не подвигая ни на шаг завоевание Кавказа; а в центре — всеобщее опошление и бездарность правительства».

Да, над Россией мертвая тишина. На троне — европейский жандарм, деспот, нивелировщик и враг просвещения Николай I, сделавший смотр «целью общественной и государственной жизни».

Кажется, нет на свете силы, способной противостоять равнодушной механической силе.

Однако обманчива тишина. В ее недрах пробивают дорогу к свету родники. Медленно, но неостановимо зреют плоды обновления.

Москва. Годы учения

1

Москва оглушила Януария обилием народа, роскошью магазинов, шумом улиц. Мимо него проносились, едва касаясь земли, изящные фаэтоны, пролетные дрожки, коляски, кареты. Купцы спешили в ряды, гувернеры вели детей в пансионы, шествовали неторопливо в университет студенты...

Как примет его этот город?

Временно он поселился на Старой Басманной у токаря-немца.

Карточные замки Януария рухнули при первом же соприкосновении с действительностью.

Ректор университета Двигубский адресовал его к инспектору казенных студентов, профессору Щепкину, который разъяснил, что для поступления в учебное заведение требуется знание гимназического курса и что Януарию, как неучившемуся в гимназии, предстоит предварительно выдержать экзамен.

О ужас! Даже названия многих дисциплин, продиктованных Щепкиным, он слышал впервые!

— Советую вам, молодой человек, вернуться домой и продолжить образование, — участливо посоветовал профессор, но, заметив смятение Януария, добавил: — Впрочем, к экзаменам можно подготовиться и здесь. Могу рекомендовать вас кандидату университета

Безсомыкину; он, я слышал, занимается с несколькими молодыми людьми.

Другого выхода не было. Януарий не допускал и мысли о возвращении домой. Да и был ли у него родной дом? На что он надеялся — неизвестно. Матушкиной суммы могло хватить в лучшем случае на несколько месяцев жизни в Москве, а требовалось прожить два-три года. После некоторых колебаний он все-таки написал обо всем родительнице.

2

Август, 1827 г.

«...Посоветовавшись, решила я продать наш арзамасский дом, чтобы доставить средства для подготовки в университет. Что дальше будем делать, не знаю. Господь не оставит. А мне, видать, немного уже осталось дней коротать на белом свете.

Любящая Александра Петровна Неверова».

3

Мир на добрых людях держится.

Пока стоит русская земля, не переведутся на ней сердца честные, горячие, отзывчивые на чужое несчастье.

Беспомощным птенцом порхал Януарий по новым знакомым, и те не гнали его, не чурались, находили теплое слово. А он, худой и по-мальчишески угловатый, изо всех силенок старался проникнуть в смысл их споров о душе мира, стремящейся к самопознанию, о кантовой вещи в себе...

Сколько таких гадких утят, подчинясь зову времени, ковыляли на слабеньких ножках под крыло альма-матер?!

Иван Николаевич Камашев, квартировавший у Щепкина, вызвался бесплатно готовить Януария к экзаменам по математике. Это — раз. Он же свел его с Михаилом Николаевичем Лихониным, который кормился уроками и тем не менее взял на себя обязанность наставника по остальным предметам всего за 700 рублей ассигнациями в год. Со столом и квартирой! Так что выходит почти вполовину действительной суммы. Это — два.

Что же — три?

А зачем, собственно, три? И так полная удача, какой он не ожидал и какой не заслужил.

Но — заслужит.

Так Януарий оказался жителем дома с мезонином, что на углу Девичьего поля, через улицу от церкви Знамения.

4

Лиха беда — начало. А начинать ему пришлось по сути с пустого места. В голове, кроме поверхностного знания литературы (преимущественно французской), кое-каких навыков в музыке и французском языке, ничего не было. Да и имеющиеся знания были ему во многом вредны, ибо переучиваться во сто крат труднее, чем постигать шаг за шагом основы наук, идти от простого к сложному.

Был, признаться, у Януария соблазн окунуться в московскую жизнь, тайком от Лихонина он даже предпринял несколько вылазок в «большой» свет. Однако веселье не шло впрок, становилось поперек горла, отдавало горечью обмана; он не мог даже на мгновение вообразить, что затея с поступлением в университет обернется крахом.

Тускло отсвечивал в памяти матушкин жемчуг.

Изредка к Лихонину приходили товарищи, беседовали об университетских делах, спорили о Шиллере, о Гете, трансцендентальном идеализме Шеллинга. Януарий сидел в сторонке и делал вид, что занимается, но украдкой прислушивался к речам и со страхом обнаруживал, что решительно ничегошеньки не понимает в субъектах, объектах и мировой душе.

А ежели он туп как пробка?

Лавина новых сведений и впечатлений обрушилась на неокрепшее сознание Януария, и он вполне мог прийти в отчаяние от бесплодных попыток за считанные месяцы усвоить то, на что другим требуются годы, если бы не дружеское участие Лихонина и его друзей — Камашева, Безсомыкина и Розберга.

5

Занятия состояли главным образом из чтения книг. Утром Лихонин за чаем выслушивал отчет Януария о пройденном материале, отвечал на его вопросы и сам их задавал, стараясь в нескольких фразах подчеркнуть основные мысли, означить причины и следствия. Потом он уходил на весь день, возвращался вечером и уже за ужином просматривал письменные работы питомца, беседовал с ним.

Хуже всего дела обстояли с математикой. С одной стороны, не лежало у Януария сердце к точным наукам, а с другой — подготовку его по этому предмету взял на себя Камашев. Трижды в неделю Януарий отправлялся к нему в университет, где Камашев жил в квартире профессора Щепкина.

Искренне увлеченный философией Шеллинга, автор опубликованных в «Вестнике Европы» статей

«Взгляд на историю, как науку» и «О различных мнениях об изящном», Камашев и в математике видел прежде всего проявление различных философских закономерностей.

— Ну-ка, проверь расчеты, — горячился он. И нетерпеливо указывал пальцем в погрешность.

Януарий потел, скрипел пером, ерзал на стуле, пока Камашев не подсказывал:

— Ноль пропустил.

— Пропустил, — уныло соглашался Януарий.

— А что такое ноль? — сиделся на любимого конька Камашев. — Это символ бесконечности...

Дальше следовали пространные и гораздо более интересные для Януария рассуждения о бесконечности, об отвлечении, о Фихте и Шеллинге, о трех периодах мировой философии, об искусстве как высшем документе науки и философии, их подлинном органоне.

Изредка «опекуны» устраивали нечто вроде тайных советов, на которых подводили итоги учебы.

— В словесности познания неплохие, — констатировал Лихонин. — В истории есть немало пробелов, но это дело поправимое. Ум молодой, все, как на воске, отпечатывается.

— Математику, пожалуй, к началу экзаменов не осилит, — сетовал Камашев...

В трудах пролетел год.

6

В августе 1828 года Януарий решил подать просьбу на словесный факультет университета и был допущен к экзаменам.

Попытка — не пытка.

Несколько дней ходил в правление, дожидаясь очереди испытаний. Как во сне прошли часы, когда соискателей сначала усадили в канцелярской комнате писать сочинение на заданную тему, а затем по прошествии некоторого времени пригласили за стеклянную дверь в присутствие на устные экзамены.

За покрытым красным сукном столом сидели ректор Двигубский и несколько профессоров университета, от чьих решений зависело будущее Януария. Двигубский, кажется, узнал его и, наклонившись к соседу, что-то шепнул тому.

Экзамен по русской словесности Януарий выдержал хорошо. Экзаменатор Алексей Федорович Мерзляков попросил разобрать «Утреннее размышление о божием величестве» Ломоносова.

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли,
И Божия дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков зиждитель сам! —

с воодушевлением продекламировал Януарий. Он помнил наизусть многие оды Ломоносова, чем окончательно покорила Алексея Федоровича.

— Прекрасно, молодой человек! Прекрасно! — восторженно приветствовал тот Януария.

Однако на математике Неверов срезался. В один миг разрушились все его замки. Чудо?

И оно пришло в лице Мерзлякова.

— Господа, к чему ему математика? Молодой человек поступает на словесный факультет, здесь он покажет знания великолепные. Думаю, в данном случае можно оказать снисхождение...

Свершилось!

По обыкновению, заведенному после «мятежа» на Сенатской площади, он написал обязательство, что не принадлежит ни к каким тайным обществам и принадлежать не будет.

Затем ему вручили университетский табель.

Формальности были соблюдены.

Януарий Неверов стал студентом.

7

Gaudeamus, igitur, juvenes dum sumus! Будем веселиться, пока мы молоды! Пошиты вицмундир, панталоны, черная форменная жилетка и шинель. На выпушку и окольш закуплено преотличное малиновое сукно. Медные пуговицы — как солнце!

Будем веселиться?

Через три месяца после успешно выдержанных экзаменов Януарий переселился от Лихонина на дешевую квартиру за Калужскими воротами против Нескучного сада, в дом Курбе.

Скучать там действительно не пришлось. Хозяин, молодой человек, только что закончивший университетский курс, вел довольно бесшабашную жизнь. Кутежи чередовались с попойками.

А тут еще ввела Януария в искушение содержанка хозяина, дарившая благосклонностью не одного благодетеля.

— Ах, милый, — кокетливо говорила расчетливая «Матильда». И Януарий доставал кошелек.

Деньги от продажи дома еще были, да и после неожиданной смерти матушки ему перепало кое-какое наследство, однако имеющихся сумм при самых

экономных расходах едва-едва должно было хватить на изучение университетского курса.

Кровь бродила в жилах, бросала Януария на неоправданные расходы и, возможно, деньги уплыли бы, как вода сквозь пальцы, если бы не настырность опекуна Корсакова, который каждую присылку сопровождал ушатом наставлений и напоминаний, отрезвляющих Януария.

Разгул, в который ударился Януарий, скоро показался ему пресным, да и привычка к постоянному изучению наук стала для него настоящей потребностью.

Перебродило.

Зимой Неверов съехал подальше от Нескучного сада — поближе к университету.

8

Занятия начались 17 августа.

Профессор истории Ульрихс с трудом изъяснялся на русском языке, поэтому имел обыкновение читать свои лекции по тетрадкам. Учитывая это, а также некоторую отдаленность квартиры от университета и ранний час лекций Ульрихса, Януарий предпочитал опаздывать.

Ульрихс после некоторой борьбы смирился с этим нарушением правил, выработав, впрочем, своеобразный контрход. Завидя Януария, спешащего на свою скамью, он обычно прерывал чтение тетрадки и, если речь шла о каком-то конкретном историческом лице, изрекал, к примеру: «Александр Македонский так поздно в класс не ходил».

Однажды Неверов попытался проскользнуть на свое место в то время, когда Ульрихс говорил о Кар-

ле V, его отречении от престола, поступлении в монастырь и смерти.

— А вон тень Карла Пятого, — сохраняя важный профессорский тон, произнес Ульрихс, указав на Януария, чем вызвал хохот аудитории. После этого случая Януария долго называли «тенью Карла».

Впрочем, лекции Ульрихса, равно как и Победоносцева, не имели большого влияния на студентов. Пережевывание общих мест и избитых фраз вызывало отрывку. Что, кроме зевоты, могли вызвать, к примеру, одни темы сочинений Победоносцева: «Мысли старца при взгляде на заходящее солнце» или «Может ли несчастье быть полезно человеку».

Гораздо интереснее проходили занятия у Мерзлякова и Каченовского. В Мерзлякове узнал Януарий своего спасителя на экзаменах. Каченовский привлекал молодые умы остротой суждений, критicismом взглядов на современную историю и историков.

Но наибольший восторг студентов вызывали лекции профессора физики Павлова, который с особыми изяществом и ясностью излагал учение Шеллинга.

Странные личности встречались на университетских кафедрах. Профессор латинского языка Снегирев, скажем, привлекал внимание студентов такими сомнительными шуточками и остротами, от которых у наиболее чувствительной части аудитории просто уши вяли. Лекции греческого языка Ивашковского выливались, как правило, в монолог, от которого профессора, как тетерева, ничто не могло отвлечь. Открыв книгу, Ивашковский ходил по залу взад-вперед, а студенты занимались своими делами.

Порой от человека в памяти ничего не остается, кроме одной черты, любимого словечка или фразы.

Так у Ивашковского в каждом предложении обязательно присутствовало слово «будет».

Ходил анекдот, что однажды, во время сильного дождя, он хотел нанять извозчика. Тот запросил втридорога. Тогда Ивашковский указал палкой на другого и сказал: «Следующий будет». Но и тут старику не удалось сойтись в цене, он вспылил: «Дурачье будет!» — и отправился пешком. За эти и подобные выходы Ивашковский заслужил у студентов прозвище «Осел, навьюченный книгами».

В одном Ивашковскому нельзя было отказать: на его лекциях дремалось как ни на каких других. Когда Януарий начинал от монотонных «будет» клевать носом, сидевший позади него Ключников торжественно подавал табакерку с назидательным наставлением:

В тяжелый час, когда душе взгрустнется,
Слеза блеснет в глазах, и сердце содрогнется,
И скорбная глава опустится на грудь, —
Понюхай табаку и горе позабудь!

Януарий нюхал, чихал, профессор Ивашковский вздрагивал, на секунду отрывался от книги, а потом все снова шло своим чередом.

Основные знания студенты приобретали из книг, в ожесточенных спорах. И как ни странно, из этой рутинной атмосферы университета 1830-х годов вышло немало оригинальных умов, прославивших русскую науку и искусство.

Душа томилась. Не хватало ей чего-то. Странное ощущение преследовало Януария, будто не мог он вдохнуть полной грудью. Были шалости, были занятия в университете и дома, чтение Ламартина и углубление знаний в языках. И все-таки оставалась в серд-

це какая-то пустота, хотелось доброго слова, участия и совета.

Хотелось — друга.

9

Владимир Ржевский был сыном орловского помещика. В университет он поступил годом раньше Януария, что, однако, не помешало их тесному сближению. Со всей горячностью юности отдался Неверов новому чувству. Ржевский, похоже, отвечал взаимностью. Сдержанный в проявлениях чувств, несколько замкнутый и даже рационалистичный, он скупно делился с Януарием задушевыми мыслями, оказывал ему только некоторые знаки товарищеского внимания.

По окончании годового курса Владимир предложил Неверову провести некоторое время в родовой деревне, расположенной в Мценском уезде. Следует ли говорить, с каким восторгом принял Януарий эти слова. Конечно же, только вместе! Честно говоря, он и не представлял себе, как сможет прожить без каждодневного общения с другом! А Мценский уезд — замечательное место!

Странно все-таки устроен характер у Владимира. За летние месяцы Януарий полюбил гостеприимное хлебосольное семейство, сестер и братьев друга. Он надеялся, что совместная поездка и жизнь на лоне природы растопят окончательно ледок в отношении к нему друга.

Однако Ржевский, казалось, не замечал чувств Неверова, был как прежде сдержан и холоден. Может быть, он, Януарий, делает и говорит что-то не то? Возможно, он не достоин дружбы Владимира и тот только из жалости не отдаляет его от себя? Как найти ответы на эти вопросы?

Неверов решил вести дневник, где однажды в отчаянии записал: «Владимир, по природе холодно-сти, или, может быть, потому что ему никогда не приходило в голову давать себе отчет в своих чувствах, — если действительно имеет сам ко мне привязанность, то вполнину не понимает той чистой и нежной дружбы, какую я к нему питаю. Он едва ли даже подозревает, что он есть единственное существо, которое я люблю со всем пламенем души, люблю так, как только я в состоянии любить. Кажется, он никогда не давал себе труда вникнуть в глубину души моей, да он о том и не заботится: ему все равно, что бы я ни чувствовал как в отношении к нему самому, так и ко всем прочим, — но опыт удостоверил меня, что душа моя не может быть без идола. Если бы не занимала ее вполне любовь к Владимиру и ко всему его семейству, тогда бы первая попавшаяся мне девушка, одаренная душою, способною хоть третью долю чувствовать то, что чувствует душа моя, была бы для меня предметом самой пламенной страсти. Я благодарю судьбу, что такое чувство дружбы, обладая вполне мною, не дает места любви: в противном случае этот тихий, согревающий огонь обратился бы во всежигающий пламень. Притом стремление к тихой семейной жизни, родившееся во мне оттого, что я почти никогда не наслаждался такою жизнью, это стремление представляет моему воображению во Владимире нежного друга, брата, а в его родителях я вижу как бы собственных отца и мать, которых я очень любил и весьма рано лишился... а потому они как бы оживают для меня в семье Владимира, которая, как мне кажется, так хорошо ко мне расположена, как только можно ожидать от людей с обыкновенным образом мыслей, не знакомых с высшими стремлениями. Вот причи-

ны, заставляющие меня, несмотря на видимую холодность Владимира, питать к нему те чувства, о которых я говорил выше... Я чувствую, что дружба есть благо для души моей, ибо я испытал уже любовь, знаю ее действие над моею страстною душою и счастлив, что мечты дружбы заменили мечты любви, — я сохраню их навсегда, несмотря на холодность Владимира. Пока она служит мне эгидой от любви, и дай Боже, чтобы она и впредь сохранила меня от нее! По крайней мере до того времени, пока душа моя более окрепнет и получит силу бороться с этим чувством, которое — я вполне убежден в том — при несчастной моей наружности, моем положении в свете и по тысяче других внутренних и внешних обстоятельств грозит мне бедствием в том случае, если сердце мое воспламенится любовью: на взаимность мне трудно рассчитывать!».

Ржевский упорно не замечал потуг Януария. Чем доказать свою преданность Владимиру? Какую жертву принести?

Когда в январе 1831 года умер отец Ржевского и Владимиру предстояло сопровождать тело пешком до самого Симонова монастыря, Неверов объявил, что пойдет с другом. Владимир шел без шинели, в одном фраке, надев, впрочем, под низ теплую фуфайку. Последовав его примеру, Януарий не осмелился попросить теплые белье и, когда процессия подошла к монастырю, едва мог двигаться от холода. Пожалев юношу, монахи отвели его в трапезную и влили в рот стакан водки, отчего Януарий впал в беспамятство. Так его и доставили домой.

На следующее утро он был в отчаянии: вместо помощи и участия к горю он принес дополнительные хлопоты!..

Постепенно они разошлись с Владимиром, хотя видимость дружеских отношений долгое время их еще связывала.

10

Общительный и жизнерадостный, Януарий легко сходилась с людьми, привлекал внимание и вызывал сочувствие своей поистине безграничной добротой, романтической возвышенностью характера и воззрений. При всем том ему нельзя было отказать в знании литературы, истории и философии. Не зря провел он год в обществе Лихонина, слушая разговоры по самым актуальным и волнующим вопросам.

Конечно, знания эти не были достаточно глубоки. Сам Януарий это постоянно ощущал. Порой он обнаруживал неверное представление о предметах очевидных, чем вызывал естественное недоумение собеседников, выросших большей частью в обеспеченных высококультурных семьях. Но порой его прозрения удивляли собеседников.

Януарий впитывал новые познания и впечатления с тщанием губки. Его нескладную фигуру можно было в один день встретить в противоположных концах Москвы, у самых различных людей.

В деревне у Ржевских Неверов познакомился с семейством Беер. Наталья Владимировна Беер, урожденная Ржевская, имела трех взрослых дочерей и сыновей — Алексея и Константина. Овдовев, она посвятила себя целиком хозяйству и воспитанию детей.

Вместе с Владимиром Ржевским Януарий нередко выезжал к Беерам, где их внимание привлекала Марья Афанасьевна Дохтурова, дальняя родственница Бееров, развитая и образованная дама лет сорока.

Стены в ее комнате были увешаны пейзажами окрестных мест, копиями выдающихся произведений живописи. Не отрываясь от мольберта, Мария Афанасьевна приветливо кивала Ржевскому и Неверову, заводила с ними беседу об искусстве, причем суждения Дохтуровой отличались глубиной и неординарностью, неожиданными поворотами.

Порой она просила Владимира почитать вслух какое-нибудь новое произведение русской или французской литературы, делая мимоходом свои пронизательные замечания, часто вызывавшие оживленные споры.

Януарий благоговел перед Дохтуровой. Он терялся и робел, если она обращалась к нему с вопросом или просьбой. Его смущение нравилось даме, как натуре властной и не терпящей пустых словопрений. Может быть, поэтому она отметила Януария и, случилось, подолгу беседовала с ним на темы самые отвлеченные, мягко направляя ход мысли собеседника, указывая ошибки и советуя обратиться к той или иной книге.

Неверов не смел и мечтать о дружбе такой женщины, однако по переезде Ржевских и Бееров в Москву Мария Афанасьевна сама поинтересовалась, почему Януария не видно на вечерах и чем он занимается.

Алексей Беер в 1831 году поступил учиться в Московский университет и часто приглашал в дом на танцы товарищей, среди которых Януарий скоро отметил высокого стройного студента, обладавшего необыкновенно выразительными карими глазами. Длинные черные волосы, расчесанные на пробор, легко падали на плечи. Тонкий нос с горбинкой, нервные ноздри, выразительные губы выдавали натуру с богатой внутренней жизнью, чуткой нервной организацией.

Когда Януария познакомили с ним, юноша непринужденно протянул крепкую руку, не вязавшуюся с его изысканным обликом, и представился:

— Станкевич, Николай Владимирович.

11

Этот момент играет в жизни Януария Неверова и Николая Станкевича особую роль. Маркиз Поза нашел своего Дона Карлоса.

Понять характер их отношений, развитие взглядов, судьбы невозможно без экскурса в этику и эстетику романтизма, где ключевую роль приобретает проблема идеала и всеохватывающей любви.

Николай Владимирович Станкевич сыграл заметную роль в общественно-политической жизни России сороковых годов. Самые выдающиеся умы единомысленны в высочайшей оценке его деятельности. При всем том личность эта как бы лишена четких очертаний. Станкевич не оставил заметных художественных произведений, критических и философских статей.

В чем же секрет его влияния на Герцена, Белинского, Грановского, Боткина и Тургенева? На целое поколение?!

Станкевич родился в 1813 году в деревне Удеревка Острогожского уезда Воронежской губернии, в семье состоятельного помещика. Через десять лет Николая отдадут в Острогожское уездное училище, а еще через два года помещают в Воронеже в частный пансион, где и были заложены основы его литературных и философских убеждений.

В 1830 году юноша становится студентом словесного отделения Московского университета, который заканчивает через четыре года. Умер Станкевич летом

1840 года в Италии. Как видим, жизненная канва не отличается богатством событий.

Говоря о Станкевиче, известный литературовед Лидия Гинзбург отмечает, что годы его деятельности являются переходными, когда «русская литература неудержимо двигалась к человеку, понимаемому в его исторической, социальной, психологической конкретности. На этом пути от раннего Герцена к зрелому Герцену, от Бакунина к Белинскому — есть еще промежуточное звено: Станкевич».

И далее: «Герцен, Тургенев, Анненков искали причины значения и влияния Станкевича в том, что он был воплощением совести людей своего круга, чистейшим носителем их нравственных интересов. Но это еще не все. Смысл своеобразного культа Станкевича уясняется полностью только в связи с глубоким умственным переломом, наметившимся в конце 30-х — начале 40-х годов. Бакунинский романтизм был к тому времени уже запоздалым. Идея конкретной деятельности входит в кругозор в 1838 году, даже осенью 1837-го, когда он впервые познакомился с эстетикой Гегеля. 1838 год — переломный и для Лермонтова: это начало работы над «Героем нашего времени». Герцен, Огарев, Боткин — каждый из них на рубеже 40-х годов расстается с романтизмом (другое дело, что какие-то элементы романтического сознания люди 30-х годов сохранили навсегда)... Потребность в новом строе сознания, в новом эпохальном герое была напряженной; однако этот новый эпохальный образ отличался пока неопределенностью. Ведь расплывчатым, зыбким был пока и самый термин «реализм», еще не оторвавшийся от своих чисто философских значений, от умозрительной формулы противостояния идеального и реального. Модель нового характера еще не сложилась, и в переходный момент требования предъ-

являлись еще, главным образом, негативные. Надо было прежде всего избавиться от признаков изживающей себя романтической идеальности — от ходульности, призрачности, фразы... Станкевич был человеком промежутка, перехода — и совсем не резкого...

Основы его концепций заложены романтизмом и немецкой идеалистической философией. Даже философия действительности, всецело захватившая Станкевича в конце его жизни, открыла ему действительность в гегельянских логических категориях, без тех мощных прорывов в социальное и конкретное, которые с самого начала характерны для гегельянства Белинского... Само приложение идеологических формулировок к жизни, их биографическое наполнение обличает в Станкевиче человека, многими связями прикрепленного к романтизму. С ним даже совершались те самые события, какие положено было испытать романтику, вроде одновременного опыта любви земной и любви идеальной. Но вся эта романтическая проблематика и даже практика оставляла личность свободной, не сковывая романтической маской прорезывающиеся черты нового человека».

Именно под этим углом зрения, на наш взгляд, следует рассматривать развитие отношений Станкевича и Неверова. На почве романтизма произошло их сближение.

Об увлечении Неверова романтиками имеется немало свидетельств в его воспоминаниях.

12

Для молодежи конца 30-х — начала 40-х годов было характерно мышление в романтических образах, обращение к творчеству Шиллера, Тика, Гофмана. В этой атмосфере и происходило становление взглядов

Януария. Здесь уместно упомянуть, что первый его наставник, Лихонин, перевел «Дона Карлоса», являлся усердным последователем философии Шеллинга, которая, как известно, послужила обоснованием эстетических теорий немецкого романтизма. Возможно, именно от Лихонина впервые услышал Януарий о трагедии испанского наследного принца и его друга мальтийского рыцаря.

В пьесе нашла отражение идея «просвещенного абсолютизма». Один из главных героев — маркиз Поза — уговаривает испанского короля Филиппа II на преобразования. Однако перерождение закоренелого деспота невозможно. Поза мечтает поставить во главе восставших Нидерландов своего друга и духовного воспитанника Дона Карлоса, наследника испанского престола. Но и этот замысел терпит крах, столкнувшись с силами духовной и светской тирании в лице Филиппа II и Великого инквизитора. Несмотря на это, поэма Шиллера полна оптимизма, веры в светлое будущее человечества. Эти мажорные ноты, идея «просвещенного абсолютизма» привлекали внимание передового русского общества начала XIX века. Они были во многом созвучны мыслям и настроениям декабристов.

Русским романтикам последекабристской эпохи в «Доне Карлосе» близка поэтизация дружбы Позы и Карлоса, идея жертвенности. Поза отвергает самые заманчивые предложения Филиппа II, отдает свою жизнь за друга.

Параллель между Станкевичем и Неверовым и героями Шиллера — Доном Карлосом и маркизом Позой — закономерна.

В одном из писем Неверову Станкевич отмечает: «Много есть людей с чувством, но не многие способ-

ны симпатизировать, углубляться в чужое чувство и усваивать его... Сейчас читал я некоторые сцены из «Дона Карлоса» Марье Афанасьевне; я давно не читал его, поэтому отрывки для меня не имели такого интереса, как целое!.. Но сцены маркиза Позы трогали меня относительно — я привык с понятием дружбы соединять мысль о тебе; по крайней мере, если то, что я к тебе чувствую, не дружба, то дружба должна войти в ряд прекрасных мечтаний: она не существует... Искусство делается для меня божеством, и я твержу одно: дружба (или любовь — последняя род, первая — лучший из видов и священнейший) и искусство! Вот мир, в котором человек должен жить, если не хочет стать наряду с животными! Вот благотворная сфера, в которой он должен поселиться, чтобы быть достойным себя! Вот огонь, которым он должен согревать и очищать душу! С кем же делиться чувством, которое рождает искусство, как не с другом?». Подобным образом мыслил и Неверов.

Разговор о влиянии Шиллера на русскую общественную и художественную мысль — актуален. Любопытно проследить, к примеру, как менялось восприятие «Дона Карлоса» представителями различных поколений.

Герцен в статье «Император Александр I и В.Н. Каразин» сравнивает Каразина с маркизом Позой. Современники Каразина и он сам прежде всего видели в драме Шиллера ее политическое содержание. Подобно маркизу Позе, Каразин хотел стать — и на какое-то время стал! — советником, личным другом императора. Новоявленному Позе казалось, что идея просвещенного монарха близка к осуществлению. Увы, «отставка» последовала в самый неожиданный момент.

Позднее подобную попытку, как считает Ю.М. Лотман, предпринял в 1820 году в Троппау П.Я. Чаадаев.

Герои Шиллера воспринимались в России не просто как художественные образы, но прежде всего как модели характеров. Грань между искусством и действительностью не ощущалась в качестве чего-то невероятного.

13

После поражения декабризма, в условиях николаевской реакции, на первый план в восприятии драмы выдвинется сюжетная линия Дон Карлос — Поза. Идея просвещенного монарха рушится, отодвигается на неопределенное время. Не случайно в «Былом и думах» Герцен отмечает: «Шиллер остался нашим любимцем, лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит.

Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?».

Для Герцена был так же характерен культ романтической дружбы, как и для членов кружка Станкевича.

Вот еще одно характерное место из «Былого и дум»: «Я не знаю, почему дают какой-то монополю воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба.

Со своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать ты и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру».

Подобными мыслями и настроениями буквально пестрят письма членов кружка Станкевича.

Однако то, что было пережито Герценом в пятнадцати-семнадцатилетнем возрасте, через несколько лет в кружке Станкевича является предметом анализа, перенесено на философскую почву.

Главным в человеке Станкевич считает духовный внутренний мир. Постоянное его сопоставление с романтическим идеалом и становится побудительным мотивом к движению, к развитию. Самый идеал заключает в себе идею избранности, мессианства.

Названный круг мыслей нашел всестороннюю разработку в поэзии и прозе членов кружка Станкевича. Приведем в качестве иллюстрации стихотворение с характерным названием «Желание славы», написанное Станкевичем в 1830 году:

Палящий огонь сокрыт в груди моей,
Я напоен губительной отравой,
Во мне бушует вихрь страстей,
И кто смирит его? — Одна десница славы!
Небесная! скажи: узнаю ль я
Бессмертия святыя наслажденья?
Пред взорами веков, при кликах удивленья
Усыновишь ли ты меня?
Все блага — прочь! С тобой лишь в жизни радость!
Мой путь — к одной мечте!
Блюда ж меня, блюда! Да не погибнет младость
В пыли мирской, в бесплодной суете!

14

Романтические идеи и интересы в начале 40-х годов были равно близки как Станкевичу, так и Неверову.

Однако прежде чем продолжить повествование о жизни Януария, хочется высказать предположение, что на первых порах известным приоритетом в дружеских связях пользовался именно Неверов — на правах старшего товарища (он был на три года старше Станкевича), — как более посвященный в философские и эстетические постулаты романтизма. Впоследствии им предстоит поменяться ролями.

Вопрос возникновения кружка Станкевича в литературе освещен недостаточно. Причина тут и в недостатке фактического материала, и в известной расплывчатости самого понятия — кружок Станкевича. Не исключено (Неверов отмечает это сам в автобиографических заметках), что ядро кружка Станкевича составила молодежь, объединившаяся первоначально вокруг Неверова.

С первых дней учебы в университете Януария преследует мысль не только романтической дружбы, но и

создания товарищества. В одной из дневниковых записей он отмечает: «Я познакомился короче с Оболенским (Иваном Афанасьевичем), в этот день он был в первый раз у меня. Его мысль основать общество дружеское между несколькими студентами для совокупных трудов на поприще образованности восхитила меня».

Неверов пользовался авторитетом у С. Строева, В. Красова, П. Клюшникова, П. Петрова, Я. Костенецкого и других студентов, были у него необходимые материальные условия: отдельная квартира, наличие известных денежных средств после смерти матушки. Вероятно, именно у Неверова начался процесс кристаллизации «дружеского общества», характеризующегося преимущественно просветительскими, эстетическими интересами. Впрочем, позднее, у Станкевича, собрания единомышленников приобретут большую политическую заостренность.

Говоря о наличии в Московском университете различных студенческих кружков (Герцена, Станкевича, Сунгурова), следует помнить, что между ними не было барьеров, шло постоянное общение. Скажем, Костенецкий поддерживал хорошие отношения как с Герценом и Огаревым, так и с Неверовым, являясь в то же время деятельным участником кружка Сунгурова.

Праздник молодой

1

— Я слышала, что вы мечтаете о литературном поприще, — приветливо обратилась к Станкевичу Мария Афанасьевна, пытливо вглядываясь в его карие глаза. — Сказывали даже, что в Воронеже вышла ваша драма — «Иоанн Грозный», кажется? Не могли бы вы почитать нам свое сочинение?

Станкевич смутился. Он не любил расспросов о своем литературном опыте. Стараясь не смотреть на Дохтурову, Николай буркнул:

— «Василий Шуйский». У меня, к сожалению, не осталось ни одного экземпляра. Да и не стоит, поверьте, внимания это незрелое сочинение. Безделица.

— Отчего же, — подключила к разговору Януария неуступчивая Мария Афанасьевна, — тема весьма интересная. Януарий, вы, вероятно, тоже пишете тайком драмы в духе Шиллера?

Теперь пришел черед смущаться Неверову, потому что он действительно, кроме переводов с немецкого, потихоньку кропал трагедию.

— Помилуйте, Марья Афанасьевна, уместно ли мне соперничать с Кукольником, — попытался отшутиться Януарий.

Впрочем, Дохтурова была довольна их замешательством. Ее тщеславию было удовлетворено, и она кокетливо погрозила пальчиком Станкевичу с Неверовым.

— Знаем мы вас, молодых гениев! Когда напишете что-нибудь, не забудьте мне показать...

«Молодые гении» поспешили ретироваться.

Они давно чувствовали взаимную симпатию, но не умели выразить ее словами. Немного поговорили об университетских делах, профессоре Павлове. Оказалось, что Станкевич жил в пансионе профессора на Дмитровке близ Дворянского собрания, но не как пансионер, а снимал отдельную квартиру и держал прислугу.

— Милости прошу,— пригласил он Януария к себе, — у меня никто не помешает в деталях обсудить волнующие нас вопросы.

2

В марте 1831 года Неверов переехал к Мельгуновым в Кречетники. Получилось это как-то само собой. После смерти старика Ржевского все семейство переселилось в деревню. Вскоре, закончив курс в университете, уехал и Владимир.

Януария не гнали из московского дома, более того — поручили все хозяйство его надзору.

Пусто стало в залах и комнатах, недавно еще наполненных гамом и суетой жизни. Тишина мертвого дома давила на Януария, мешала ему сосредоточиться. Через неделю на домашней утвари, на столах и подоконниках лежал слой пыли, разъедающий душу налет забвения. Хотелось бежать на свежий воздух, к друзьям.

Естественно, Януарий пользовался любой возможностью заночевать у знакомых, искал для этого поводы. Его терзания не остались незамеченными.

Во многих богатых аристократических домах Москвы существовал обычай давать приют бедным

студентам, не возлагая на них особенных обязанностей. В одно из таких семейств и пригласили Януария. Мельгуновой его рекомендовала старуха-немка, бывавшая у Ржевских и помогавшая Неверову в изучении языка Гете и Шиллера. Она с таким участием рассказывала о бедном юноше с чистым добрым сердцем, так расхваливала его трудолюбие, что Мельгуновы заинтересовались Януарием и прониклись к нему искренней симпатией. Следует заметить, что семейство это играло заметную роль в общественной жизни Москвы, благодаря прежде всего усилиям и связям Николая Александровича Мельгунова, молодого человека, прекрасно образованного, известного писателя, критика и меломана. В доме Мельгуновых часто собиралось самое изысканное литературное общество. Здесь бывали поэты Хомяков и Языков, литераторы Иван и Петр Киреевские, Погодин и Шевырев, многие музыкальные знаменитости.

Узнав об отъезде Ржевских, Мельгунов предложил Януарию переселиться к ним.

— На антресолях у нас как раз есть две удобные комнаты, где никто не помешает вашим занятиям. Кроме того, вы сможете начать изучение английского языка. Я пригласил себе наставника, услугами которого вы тоже можете пользоваться.

Николай Александрович хитрил. Старичок-англичанин был приглашен специально для Януария.

3

Это был самый безмятежный и счастливый период в жизни Неверова. Со Станкевичем они были неразлучны. Януарий свел его с Мельгуновым и вместе с другом частенько присутствовал на литературных

вечерах, после которых Станкевич, как правило, оставался ночевать у Неверова.

Мельгунов нашел в Януарии не только терпеливого и вдумчивого слушателя, но и единомышленника. Поклонник немецкого романтизма, переводчик Вакенродера и Тика, Николай Александрович формировал мировоззрение Неверова в том же духе, что и Лихонин с друзьями.

Многие мысли Мельгунова стали его, Януария, мыслями. Слова, как зерна, падали на подготовленную почву.

— Есть у Вакенродера жизнеописание композитора Иозефа Берглингера, — рассказывал Мельгунов. — В статье, приписываемой Вакенродером этому композитору, рассказана история о святом, жившем в пещере, мимо которой текла река. Святому казалось, что он слышит непрерывный шум колеса времени. Днем и ночью пытался он помочь вращению этого колеса, дабы не дать времени остановиться хоть на мгновение.

— И что же, он вечно обречен пребывать в своем заблуждении? — поинтересовался Януарий.

— Нет. Однажды влюбленные поднимались в легкой ладье по реке. Они пели, и звуки божественной мелодии вдруг заглушили для старца грохот колеса времени...

— Значит, только музыка способна дать человеку откровение? — настаивал Януарий.

— Несомненно, что это высочайшее из искусств... — и Мельгунов пустился в пространные размышления об истине и красоте, представляющими два единых образа созерцания абсолюта.

Порой в беседах принимал участие Станкевич, настроенный, однако, более реалистично, чем Невер-

ров. Слишком уж возвышенная и совершенная картина мироздания получалась у Шеллинга и романтиков. Причем у них не было ответа на многие волновавшие его вопросы.

Если мир устроен гармонично, то откуда в нем несправедливость, угнетение человека? Откуда эгоизм, другие низменные устремления души?

Николай Александрович, как мог, разрешал эти сомнения, однако ответы его грешили общими фразами, которые ни в чем не убеждали.

Мир жил по другим, более сложным и жестоким законам. Романтики же, подобно вакенродерову святому, наивно полагали, что именно они крутят колесо времени.

Януарий часто упрекал Станкевича за препирания с Мельгуновым, говорил о том, что взгляды последнего являются плодом многолетних размышлений, занятий философией, что многое они поймут позднее... Станкевич отмалчивался, но всем видом показывал, что не собирается принимать откровения Николая Александровича на веру, как Януарий.

Мельгунову нравилось, как Януарий рассказывает о различных забавных происшествиях, которые имели обыкновение с ним постоянно случаться. Многие факты были им использованы в художественных произведениях, вызывавших недовольство Станкевича, считавшего, что Мельгунов слишком мало внимания придает внутренней жизни человека.

Поглощенный дружбой со Станкевичем, рафинированными разговорами в салоне Мельгунова, Януарий словно отгородился от жизни романтическим частоколом. Он не замечал, что студенты толкуют не только о высоком предназначении искусства, но и о дерзких «бунтовщиках», осмелившихся выйти

на Сенатскую площадь, о деспотизме Николая I, об упадке просвещения.

По меткому выражению Искандера, «Московский университет становится храмом русской цивилизации; император его ненавидит, сердится на него, ежегодно отправляет в ссылку целую партию его воспитанников и, приезжая в Москву, не удостаивает его своим посещением; но университет процветает, влияние его растет; будучи на плохом счету, он не ждет ничего, продолжает свою работу и становится подлинной силой».

В университетских коридорах Неверову встречались Александр Герцен и Николай Огарев.

Как-то обратил он внимание на новенького — неуклюжего, сутуловатого студента с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, смотревшими исподлобья. Запомнилась и фамилия — Лермонтов.

4

После холерного года пронеслась новость: раскрыт заговор. Группа студентов университета замышляла якобы свержение законной власти. Януарий знал главаря заговорщиков Сунгурова и члена его кружка Якова Костенецкого, бывавшего на вечерах у Станкевича.

Что толкнуло их на сей безумный поступок? На что надеялись они, замышляя дерзкий проект, обреченный заранее на провал? Януарий не понимал надежд Сунгурова, однако не мог понять и Полоника, принявшего на себя роль Иуды.

Вся Москва некоторое время говорила о заговорщиках. Мысли общества были прикованы к Крутиц-

ким казармам. Сунгуровцам предстоял путь по этапу на Кавказ, солдатчина.

— Нужно устроить подписку в пользу Сунгурова и его товарищей, которые лишены всяких средств для существования. — Мысль эта, родившаяся у Януария, вскоре воплотилась в некоторую сумму добровольных пожертвований, сделанных посетителями салона Мельгунова.

Деньги были переданы по назначению, и Януарий скоро думать перестал о случившемся.

5

Станкевича тянуло к политике. Януарий видел это, понимал, что увлечение философией для друга — это путь к решению социальных вопросов. И старался убедить Николая в том, что его призвание — литература, что он — преемник Пушкина.

— Именно на этом поприще ты принесешь наибольшую пользу Отечеству.

Станкевич соглашался, не желая вступать в спор, и отдавал очередное стихотворение для напечатания в «Бабочку», «Телескоп» или «Северные цветы». Каждая публикация проливал фимиам на чувствительного Януария. Долго еще он подсовывал журнал знакомым, обсуждал наиболее удавшиеся, на его взгляд, стихи.

— «Лечу... гроба свой алчный зев раскрыли... — бормотал он в упоении. — То глас, то с роком разговор!». Эти стихи достойны пера самого Шиллера!

Если в ответ указывали на слабые места, Януарий смертельно обижался, оправдывался недостаточной сосредоточенностью Станкевича, его кощунственным пренебрежением высокой миссией, придирками, наконец.

— Что новенького? Участь моя горькая, — любил подшучивать над Януарием Мельгунов, намекая на забавный эпизод в благородном собрании, куда обыкновенно ходили на балы Неверов со Станкевичем. Так как квартира Станкевича находилась поблизости от собрания, верхнее платье они отдавали слуге Станкевича — Архипу, который приходил с ним в установленное время. Однажды Архип проспал, и любителям танцев пришлось расположиться в комнате вблизи лестницы, ожидая одежду. На улице стоял мороз, так что не могло быть и речи о том, чтобы в легких костюмах добраться до квартиры. Станкевич время от времени выглядывал Архипа и удрученно ворчал:

— Что делать? Его все нет.

Неверова веселила недоуменно сконфуженная физиономия друга, и после очередного вояжа на улицу он процитировал стихи из появившейся на сцене оперы Верстовского: «Участь моя горькая — век мне слезы лить: запрещают милого друга мне любить».

Едва Януарий произнес стихи, на него набросился с требованием извинений какой-то господин, принявший их на свой счет. Ему, вышедшему, кстати, весьма нетвердой походкой из буфета, послышалось: «Пьяница ты горькая». Старшине собрания стоило немалых усилий разрядить обстановку. В общем, обиженный принес извинения, появился Архип, и только далеко за полночь друзья смогли отправиться на отдых.

Некоторое время слова «участь наша горькая» были своеобразным сигналом к веселью, стали нарицательными для определения неожиданных ситуаций.

Мы уже упоминали, что многие истории, рассказанные Януарием, Мельгунов использовал в литературных произведениях. Однажды он написал целую повесть, главный герой которой напоминал Неверова. Неверову повесть понравилась. Станкевич, напротив, негодовал:

— Приключений — короб, а души у героя нет. Попробовал бы ты сам, Генварь, взяться за перо.

И Януарий взялся.

— Не боги горшки обжигают.

— Плакала слава Погодина, — шутил Станкевич, завидя, как Януарий прячет исписанные листки. — Прочти, не томи душу. Хоть названием утешь.

— «Гуляние под Новинским», — сдался однажды Януарий, — послушай немного.

По мере того как длилось чтение, Станкевич мрачнел. Януарий волновался, нюхал табак, рассыпал его по рукописи, стряхивал на пол.

Станкевич тем временем рассеянно прошелся по комнате, вытащил из стопки книг том подражаний и переводов Мерзлякова.

— Знаешь, брат, — вынес приговор притихшему Януарию, — переводы у тебя лучше получаются. А «Гуляние» отдай Мельгунову. Там есть несколько занятных мест.

— Участь наша горькая, — пробормотал в смущении Януарий.

Оба рассмеялись:

— Погодин может спать спокойно.

Сергею Семеновичу Уварову повезло. В старом тремнике он обнаружил оды Гомера, неизвестные

науке. Товарищ министра просвещения был неприятно поражен, когда ему отказались продать книгу. Он попросил профессора Ивашковского порекомендовать ему студента, способного добросовестно снять копию с рукописи. Ивашковский, зная дружбу Януария с Мельгуновым и другими известными литераторами, а также принимая во внимание его упорные занятия древнегреческим, пригласил Неверова выполнить просьбу Уварова.

В течение недели Януарий прилежно переписывал текст. Чтобы ускорить работу, Уваров оставлял его обедать с собой в кабинете, расспрашивал о студенческой жизни, о родителях, о прожектах на будущее.

Этот короткий эпизод сыграл в жизни Януария немаловажную роль. Сергей Семенович остался им доволен и, уезжая в Петербург, пообещал:

— Окончивши курс, явитесь ко мне. Я беру на себя устройство вашей служебной карьеры.

9

Занятия в университете между тем близились к завершению. Успешно выдержав экзамены, 4 июля 1832 года Януарий Неверов получил звание кандидата.

Через две недели из Удеревки пришло письмо от Станкевича: «Поздравляю тебя кандидатом! Уверен, что ты не 10-му классу рад и что твое человечество выше чинов; но приятно видеть награжденным достоинство. Твое сближение с достолюбезнейшим (речь идет о профессоре Надеждине. — С. Б.) также меня очень радует. Ступай на скользкое, колкое, бурное и какое хочешь — поприще жизни, но *Festen Muth in schweren Leiden Hilfe, wo die Unschuld weint Ewigkeit geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind,*

Mannerschtobz ooz Konigsthronen — Bruder, geet'es Qut und Blut! Dem Verdichste seine Kronen, Untergang der Zugenbrut*.

До сих пор, я знаю, таковы были твои правила, и твердо уверен, что они не переменятся: они — твое я. Теперь прилагай свои теории в практическом Петербурге или мечтательной Москве — жизнь перед тобою...».

Настало время выбора. Станкевич советовал оставаться в Москве и писать диссертацию на магистра. Это было заманчиво, тем более что обещало радость дальнейшего общения с другом.

Однако деньги, полученные Януарием в наследство после кончины матушки, почти полностью вышли.

Путь был один — служба.

По зрелом размышлении Неверов решил воспользоваться предложением Уварова.

* Слабым — братскую услугу, / Добрым — братскую любовь, / Верность клятв — врагу и другу, / Долгу в дань — всю сердца кровь! (Ф. Шиллер. Песнь радости. Пер. Ф. Тютчева)

Верный «Генварь»

1

В библиотеке Виссариона Белинского сохранилась книга «Хронологический очерк мировой истории для юношества». На титуле надпись: «Н. Станкевич», а на обороте обложки его же рукой: «Адрес Неверова: в С.-Петербурге, в Большой Мещанской на углу Нового переуллка, в доме купца Королева в пансионе г-на Калугина».

Это не единственное место жительства Януария в столице. Некоторое время он был «нахлебником» у Натальи Семеновны Камыниной на Мойке у Каменного моста, в доме Трухманова, обитал «у Обухова мосту в полукруглом небольшом небеленом бывшем князя Янгалычева доме, входить в те “ворота, что по Фонтанке”».

И по всем этим адресам регулярно поступали письма из Москвы.

Неверов переселился в Петербург в начале мая 1833 года. Первое письмо Станкевича датировано 2–3 мая.

2

«Мое здоровье ни то ни се, но, кажется, получше; насчет твоего я беспокоюсь. И петербургский климат, и его люди — все должно на тебя действовать

враждебно. Если нужны сравнения à la Киреевский, философские, то я скажу: Москва — идея, Петербург — форма; здесь жизнь, там движение — явление жизни; здесь — любовь и дружба, там — истинное почтение, с которым не имеют чести быть и т. д. Берегись продажных объятий и гладко причесанных друзей; смотри чаще на море, красу и прелесть сухого Петербурга, читай Жан-Поля, гуляй в Петергофе и думай о Сокольниках. Будь Москва в душе, но в Петербурге — Петербург с виду... Твой друг Станкевич».

Через две недели — другое длинное послание.

«Друг мой Генварь! Тысячу раз благодарю тебя за первое письмо твое. Оно у меня сохранится, как и все твои письма...

Ко мне ходят Строев, Беер, Красов, Почека и чаще Ефремов. Вот весь очерк моей жизни! Вот *compenelik** бытия моего, *Hauptdata*** моей деятельности, канва моего существования.

А что по ней шьется? Безобразные пестрые узоры — ни одного порядочного цветка, ни одного заманчивого образа, *fond**** — серого, неопределенного цвета, а самое шитье не различишь местами с серым полем. Сухо, скучно и досадно! Душа просит воли, ум пищи, любовь предмета, жизнь деятельности! и на все мир отвечает «нет» или «подожди»! Ты, друг мой, разцветлял твоею душою мою вежетацію — теперь... Слышал ты в старинной песне:

Много есть хороших,
Да милого нету, нету, нету!»

* Сжатое изложение (лат.).

** Главные черты (нем.).

*** Фон (нем.).

По приезде в Петербург Януарий заболел. Дорожная ли тряска, перемена климата, впечатлительный характер были тому виной, кто знает. Он только и успел, что подивиться математически расчисленной красоте столицы да по рекомендации Мельгунова представился известному литератору, автору нашумевшей повести о Бетховене, князю Владимиру Федоровичу Одоевскому.

И слег.

Сердобольная Наталья Семеновна Камынина, хозяйка квартиры, на которой остановился Януарий, принимала в нем деятельное участие. Раз по десяти на день справлялась о здоровье, рекомендовала какие-то травки, настои.

— Что лекарство; деды наши порошков и капель не ведали, однако здоровей нашего, батюшка, были. Корешками да вещим словом хворобу прогоняли, — произносила она назидательно, ставя у постели больного в стаканчике очередной отвар. — Испейте.

А то начинала расспрашивать о Верякушах, батюшке и матушке, проливала слезу, советовала обзавестись супругой и намекала, что у нее есть на примете образованная девушка из весьма приличного семейства.

Дела на поправку шли медленно. Януарий досадовал, что не может определиться наконец на службу. Неизвестность томила его. Однако Петербург словно испытывал юного неопита, не забывал лишний раз щелкнуть по носу.

...Однажды в комнату вбежала растерянная Наталья Семеновна.

— Батюшка, там квартальный вас требуют.

Второпях одевшись и недоумевая, чем его непри-
метная персона заинтересовала власти, Януарий отво-
рил дверь.

— Милостивый государь, приказано препроводить
вас в часть, — любезно поклонился полицейский офи-
цер.

— Тут, вероятно, ошибка, — попытался возразить
Януарий.

— Там разберутся, — вежливо оборвал офицер,
всем видом показывая, что не намерен входить в
какие-нибудь объяснения.

При этих словах Наталью Семеновну словно сквоз-
няком сдуло, однако она все же умудрилась, перебо-
ров страх, сунуть Януарию узелок:

— Вот, батюшка. В крепости хоть чайком отведешь
душу...

Его доставили в часть. Из части, поволынив
немного, переправили к обер-полицмейстеру Ко-
кошкину, который наконец объявил Неверову, что
его требует по Высочайшему повелению сам генерал-
губернатор.

«Почему по Высочайшему повелению? — недоуме-
вал Януарий. — Что могло послужить поводом?
Может быть, какая-нибудь университетская история?
Брал ведь у Селивановского запрещенные стихи и
давал, в свою очередь, читать друзьям. А если сделан
донос и его ожидает планида Полежаева?.. Не со
Станкевичем ли что случилось?».

Эти и подобные мысли роились в сознании
Януария, а его между тем провели через приемную
комнату, офицер что-то доложил и распахнул услуж-
ливо двери в просторный кабинет с громадным порт-
ретом Николая I на стене. Маленький человечек в
шитом золотом мундире небрежно скользнул взгля-

дом по жалкой фигуре Януария. Властным жестом подозвал его к столу.

— Подойдите сюда, милостивый государь, и извольте ознакомиться с этой резолюцией.

Маленький человек повернулся, посмотрел на портрет Николая, вздохнул, затем прикрыл листом часть какого-то дела, так что осталась видна надпись в несколько строк.

— Читайте вслух.

Януарий с трудом разобрал: «Сказать Палену, чтоб он потребовал к себе Неверова и от моего имени сказал ему, что глупо с его стороны такое нежничанье с государственными преступниками. Из дела я вижу, что он добрый малый, но глуп — объявить ему о том».

— Сие повеление Государя касается сбора вами средств для бывших студентов Московского университета — Сунгурова, Антоновича, Костенецкого, замышлявших мятеж.

Януарий молчал.

Маленький человек вновь заглянул в оловянные глаза Николая, вяло махнул рукой.

Все разъяснилось. Оказывается, тронутый участием Оболенского, Станкевича, Огарева, Кетчера, Сатина, Неверова и некоторых других студентов, Антонович написал им с этапа благодарственное письмо, которое было перехвачено полицией и послужило поводом для нового дела.

Письмо Антоновича едва не оказалось роковым для многих адресатов, в том числе и для Неверова.

Когда за Януарием закрылась дверь, маленький человек позвал офицера и распорядился:

— Что ж, для этого Неверова пока будет достаточно «высочайшего дурака». Авось, образумится. Впрочем, присматривайте за ним...

Сергей Семенович Уваров не забыл старательного студента, переписавшего ему древний манускрипт. Аудиенция была деловой и короткой. В тот же день, 19 августа 1833 года, Януарий был прикомандирован к редакции журнала министерства просвещения.

— Я много ожидаю от сего издания, — напутствовал Януария граф. — В нем, надеюсь, в полной мере проявятся ваши дарования. При надобности прошу обращаться непосредственно ко мне.

Сергей Семенович был заинтересован в процветании нового предприятия, на которое у него были свои честолюбивые планы. Журнал виделся ему выразителем идей православия, самодержавия и народности, составляющих, по мнению Уварова, основы процветания Российской империи. Пора наконец дать ответ всем этим шелкоперам, исповедующим исподтишка декабризм. Надо сказать, Сергей Семенович славился манией «закрывательства». Он разогнал в свое время Московский университет. Запретил печатать «Собор Божьей Матери» Виктора Гюго, а «Историю Наполеона» в Петербурге дозволил иметь шести-семи «государственным людям».

Зато в 1834 году на страницах журнала появилась статья профессора философии Ботэна из Страсбурга, который утверждал, что все философские системы суть вздор, а ответы на любой вопрос должно искать в Евангелии.

Мысль эта настолько пришлась по вкусу Уварову, что он приказал всем профессорам философии руководствоваться ею в преподавании.

Бывший приятель Пушкина, Сергей Семенович постепенно разошелся со Сверчком и даже пользовал-

ся всяким удобным случаем, чтобы посадить его на шесток подальше. Надо сказать, Пушкин не оставался в долгу и накрепко пригвоздил графа в «На выздоровление Лукулла»:

А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой.
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных туч.
Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребяташек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!

Античная бутафория была простым прикрытием. Все хорошо разобрались, кто есть кто в «подражании».

Петербург долго еще посмеивался над Уваровым, рассчитывавшим получить наследство от дальнего родственника — богача Шереметьева, тяжело заболевшего, но неожиданно выздоровевшего...

5

Редактором, впрочем, значился некто Константин Иванович Сербинович, который ведал преимущественно хозяйственными и административными делами, переложив хлопоты по литературной части на Андрея Александровича Краевского. К последнему и определили помощником Януария.

Неверов, оправившись от первых потрясений, вскоре сошелся на короткую ногу со многими литераторами и художниками столицы. Он стал «своим» в доме живописца Алексея Гавриловича Венецианова, посещал вечера президента академии художеств графа Федора Петровича Толстого и салон князя Одоевского, был завсегдатаем кружка Краевского. Краевский, являвшийся также издателем литературных прибавлений к «Русскому Инвалиду», привлек к участию в них и Януария.

6

Жизнь устраивалась, утряхивалась на жизненных ухабах, но...

Много есть хороших.
Да милого нету, нету, нету!

Главный интерес его существования сосредоточен был все-таки на переписке со Станкевичем. Януарий тосковал по дружескому кружку, по вечерним прогулкам и спорам, по Москве.

Тосковал ли Станкевич? Да.

Однажды Януарий получил из Москвы толстый конверт, в котором обнаружил рукопись под названием «Несколько мгновений из жизни графа Т...».

«Граф успел окончить университетский курс, успел сблизиться со многими людьми, достойными приязни, и с одним более, нежели с другими. Это было необходимо, — читал Неверов. — Никакое чувство не терпит раздробления: оно ищет сосредоточиться на одном предмете и сосредоточивается на нем, когда он может заменить все другие. Т... не знал ни в чем середины; приязнь его скоро обратилась в горячую дружбу, вос-

полнившую для него недостаток любви; друг вполне принадлежал ему, но судьба разомчала их по разным путям. Мануил (имя друга) засел уже в департаменте, между тем как Т... должен был оставаться в Москве. Это имело большое влияние на графа: смело и неуклонно шел он на пути к истине, не щадил себя, твердо выслушивал ее приговоры, грозившие гибелью лучшим его мечтаниям, не останавливался и шел вперед. Участь саисского юноши, преждевременно осмелившегося поднять таинственный покров Изиды, начинала уже представляться его воображению; система за системою созидались и разрушались в уме его; он уже начинал сомневаться, не слишком ли много надеется на мощь своего ума; все утешительное каждой системы гибло без возврата, а леденящие сомнения все умножались!

Пламенная, любящая душа доселе спасала графа; без него ум, не останавливаемый в своем стремлении, страшно начал работать. Что сохраняет человека от пагубных сомнений во всем, составляющем счастье жизни? Как согласить непреодолимое влечение ума к истине с потребностью любить и верить? Как отвлечь от чувства удары ума, как спасти ум от обольщительных чувств?».

Волнуясь и торопясь, перелистывал Януарий страницы рукописи, дышавшие отчаянием.

«Несколько лет разлуки ужасно переменили графа. Гордая, вдохновенная улыбка покинула лицо его, черные волосы опустились, щеки впали, большие глаза высказывали сосредоточенное страдание души...

— Ты страшен! — воскликнул Мануил.

— Поправлюсь, поправлюсь, друг мой! — поспешно сказал граф. — Воздух Италии, теплые воды, путешествие: все это придаст мне новые силы, и, возвратившись, я уже не испугаю тебя моим приходом.

Мануил взглянул на графа, и невольная дрожь пробежала по всему его телу...».

Было ясно, что Станкевич вновь погрузился в философские искания, забыв о своем высоком назначении — Поэта. Вместо того чтобы видеть смысл бытия в прекрасном: в искусстве, в дружбе и в любви, он поверяет эти вечные идеи жизнью, серыми буднями. Взять хотя бы это место из письма, присланного Николаем из Удеревки летом: «Разумеется, поэт не говорит себе: разовьем мысль такую-то, ибо в сем случае он развил бы ее логически. Нет, он часто повествует факт жизни, в чудном свете явившийся душе его, без сомнения, что факт развивает великую идею.

Не верю, чтобы Шекспир имел ясное (логически ясное) понятие о смысле своих драм; он творил «так», потому что «так» являлась ему жизнь и возбуждала его гений. Наш век, привыкший к отчетливости и способный дать себе отчет в высоком ощущении, объясняет смысл оных. Часто идея, без сознания развития, действует на нас гармонически, поэтически, но ясно нам не представляется, с некоторым напряжением ума мы уже даем яснейший отчет в оной».

Многое в этих словах было сотни раз говорено, знакомо, однако чувствовал Януарий и новые, не свойственные прежде Станкевичу нотки.

Что же будет с предназначением свыше? Или гений растрагится в пустяжных делах, не дав человечеству и сотой доли того, что обязан дать?

Осмелюсь ли просить вас, милый Карлос:
На что б вы ни решились, обещайте
Свой замысел открыть сначала другу.
Клянись мне.

Неверов решил, что ему необходимо увидеть друга, удержать его от опрометчивых шагов, предостеречь от мнимых друзей.

7

Да здравствует контора поспешных дилижансов!

Не прослужив и полгода, в феврале, Януарий испросил отпуск и укатил в Москву.

Разные мысли вызывает путешествие между старой и новой столицами. Большею частью грустные. Вспоминается желчное перо Радищева, навлекшее высочайший гнев Екатерины и послужившее причиной ссылки в Сибирь. Именно с его тяжелой руки цензоры долго будут ставить уши топориком при одном слове на обложке — «путешествие». Вспоминается Пушкин, принявший эстафету раздумий об Отечестве.

Лучше там, где нас нет. Увы, не отвезет контора дилижансов в край обетованный. Одно спасение — дорога, одна радость — движение.

Куда?

В Черную Грязь или из Черной Грязи?

Януарий, однако, недолго созерцал окрестности, укрытые снегом, спрятавшим под своим ненадежным покровом нищету и убожество. Его мысли летели быстрее дилижанса, они были там — в Москве. Он беззаботно улыбался, не замечая презрительного взгляда петербургского щеголя на его реденькие топорщащиеся усики и старые штиблеты.

К черту щеголя!

Ему не понять радостного возбуждения нашего героя, сделавшего первые — и, по мнению некоторых весьма взыскательных ценителей, — обещающие шаги на поприще журнальной критики. Не секрет для

нас и то, что в дорожном саквояже Януария среди необходимой в подобных поездках бытовой мелочевки упрятана рукопись повести «Мечтатель».

8

Такого он не ожидал!

Надеялся, конечно, что вспомнят о нем друзья-приятели, но подобного восторженного приема, признаться, не ожидал.

Ему улыбались, его теребили, поздравляли. Радовались. И Януарий немного растерялся.

— Милые мои, — только и выговорил.

В салоне Мельгунова было по-прежнемулюдно и оживленно. Януарий оказался в центре внимания. У него интересовались о камер-юнкерстве Пушкина, других петербургских новостях, планах журналов. Он в свою очередь засыпал собеседников вопросами о московском житье-бытье.

Он был счастлив...

— Минуточку внимания, — обратился с шутливым пафосом к собравшимся Мельгунов. — Хочу предложить вниманию почтенного общества кантату собственного сочинения на слова известнейших поэтов Ключникова и Станкевича.

Николай Александрович сел за инструмент и вдохновенно ударил по клавишам. Хор подхватил мелодию:

Хотя зовут его «Генварь»,
Но смотрит он веселым Маем,
За то мы песнь ему поем
И велегласно величаем.
Его пленяете не вы,
Невы красавицы молодые, —

Он верен прелестям Москвы
И вам, студенты удалые...

Завершилась кантата патетическим двустушием:

Кто верен так друзьям, как он,
Хоть называется Неверов.

— Кантата сия, несомненно, пополнит сокровищницу отечественного музыкального и хорового искусства, — торжественно резюмировал Мельгунов, в то время как собравшиеся дружно аплодировали.

9

Словом, все было как прежде: как прежде, дымился на столе самовар, который за вечер приходилось наполнять не раз; как прежде, рядом сидел Станкевич, улыбался, знакомо встряхивал густыми длинными волосами; как прежде, были долгие — за полночь, — беседы. Досталось беспринципному писаке Сенковскому и «великому» Кукольнику — автору нашумевшей промонархической трагедии «Рука всевышнего отечество спасла». Толковали о Софокле, греческом театре, замысле Станкевича писать исследование на эту тему. Между прочим, коснулись и неверовского «Мечтателя», в котором наряду с несколькими удачными местами Станкевич отметил ходульность главного героя, его чрезмерную сентиментальность.

— Это тень, а не человек. Идея, на которую натянули штаны, но они на ней висят и норовят вот-вот свалиться.

Януарий топорщил усы, нервно нюхал табак, спорил, но вынужден был в конце концов признать правоту Станкевича.

— Не всем же быть Пушкиными, — утешал его Николай. — Хороший критик, которых так недостает нашей литературе, принесет во сто крат больше пользы, чем полк вельтманов. Притом это прекрасная возможность пропагандировать свои взгляды. Загляни в отделение критики журналов. Вкусу ни на грош, логики ни на денежку! Нет, брат, придет срок, когда журналы будут читать с отдела критики. Спеши. У тебя есть все, чтобы занять одно из вакантных мест. Кстати, я думаю познакомить тебя с творчеством одаренного поэта из народа. Послушай: «Развеселись, забудь, что было! Чего уж нет — не будет вновь! Все ль нам на свете изменило? И все ль взяла с собой любовь? Еще отрад у жизни много, у ней мы снова погостим; с одним разведал нас опыт строгий, поладим, может быть, с другим!».

— Как фамилия поэта? — не удержался Януарий.

— Кольцов. Как-нибудь я тебе расскажу подробнее, а пока дай слово обмолвиться о нем в печати.

— Где же его стихи?

— Потерпи малость...

— Четыре недели длилось паломничество Януария в Москву. Все стало на свои места, рассеялись сомнения, пришло успокоение. Впереди сияли цели и, казалось, ясны были пути к ним.

Так ясны и просты, как билет в конторе поспешных дилижансов.

Убаюкивает дорога, успокаивает, унимает сомнения.

10

11 мая 1834. Москва

«Милый друг мой, Генварь! Наконец пишу к тебе!.. Общество, в котором я беседую еще о старых предметах, согревающих душу, ограничивается Красовым и

Белинским: эти люди способны вспыхнуть, проследиться от всякой прекрасной мысли, от всякого благородного подвига!

То, что я имел в тебе, я кое-как стараюсь сложить из многих, но, увы! сложное существо есть отвлеченное: сердца у него нет!».

Трудно было сплошным сердцем.

В письмах появились новые имена, новые идеи. Станкевич метался по лабиринтам различных философских систем, искал слияния высоких идей и жизни, повседневного и абсолютного.

Бывали моменты, когда ему казалось: нашел! Но сомнения, как талые воды, исподволь подтачивали веру, изматывали душу.

«Ну что ему надо! — думал Януарий. — Даже Одоевский одобряет литературные опыты Николая. Талант крепнет на глазах, а он ищет спасения в истории, разменивается по мелочам...».

19 сентября 1834 г. Удеревка

«Любезный Генварь!.. Я тебе писал уже, кажется, о плане моих занятий: я его не изменил и ему не изменил. Но так как мне не высылают до сих пор атласа из Москвы, то я отложил на время Геродота (прочитав первую книгу) и прочел несколько мелких исторических сочинений Шиллера, которые так живописны, так одушевлены, что я за месяц сделал бы удивительные успехи в истории, если бы Шиллер вздумал сам изложить ее всю. Прочел я «Систему трансцендентального идеализма», понял целое ее строение, тем более что оно было мне наперед довольно известно, но плохо понимаю «цемент», которым связаны различные части этого здания, и теперь разбираю его понемногу! Не смейся! — это одушевляет меня к дру-

гим трудам, ибо только целое, только имеющее цель, может манить меня. Например, если бы я не читал «Практической философии» Шеллинга, я бы никогда не принялся с такой охотой за историю, как примусь за нее теперь. Прошло время, когда блестящая мысль была для меня истинною, но потребность веры становится сильнее и сильнее, а постепенное воспитание человечества есть одно из сладчайших моих верований. И как отрадно видеть его в согласии с бытием природы, с сущностью человеческого знания, человеческой воли! Только — или я худо понимаю Шеллинга, или мысли его о человеке оскорбительны! Полагая, что натуральное влечение одного человека (эгоизм) ограничивает свободу другого, он говорит, что прогрессивность в истории есть улучшение общественных отношений (законов), то есть улучшение средств противодействовать эгоизму, уравнивание эгоизмов чрез действие и противодействие. Он исключает из истории науки и искусства и допускает только по степени их влияния (больше вредного, по его мнению) на правление. Мне больше по сердцу мысль Гизо — представить в истории постепенное развитие человека и общества».

II

Посвящая друг друга в тайны своих мыслей и движений души, подвергая каждый поступок безжалостному анализу, они вместе с тем искали и широкие выходы в мир.

Приобретенные друзья становились новыми друзьями как Неверова, так и Станкевича.

Януарий «заочно» подружился с Белинским и Бакуниным, и хотя близких отношений между ними

не установилось, он считал себя обязанным выполнять неписаный свод товарищеских обязанностей.

12

Да простит нам читатель, что на этих страницах он не найдет острых конфликтов, занимательного сюжета, описания природы, бытовых подробностей. Может показаться, что повествование перегружено именами и общими рассуждениями. Но ведь герои наши больше жили в идеальном мире: строили философские башни и обживали их, потом ломали и строили новые. наших героев более занимали чистые идеи, чем пение птиц и рокот воды на речных перекатах. Вернее, их, конечно, трогало и это, но на природу, на материальную жизнь они смотрели сквозь сеть умозрительных систем, как бы отстраняясь.

Попытки перейти от созерцания к полнокровной жизни были мучительны. Они протягивали руку, чтобы потрогать предмет, а он вдруг оказывался недостижимым. Тогда они смущенно смеялись, выбрасывали обманное стеклышко и примеривали новую чечевицу. Природа, любовь, дружба существовали для них в некоем идеализированном состоянии, к которому они прилаживали, как костюм, реальные чувства. Идеал оказывался недостижимым, вот и нервничали, укоряли себя, металась в отчаянии.

Метания эти не были, впрочем, бесполезны. История бесстрастно прокладывала себе путь.

13

В чувствах Неверова к Белинскому и Бакунину была все-таки некоторая ревность, затаенная обида,

что они — рядом со Станкевичем, а он — нет. Януарий с завистью представлял, как на квартире у Николая собрался кружок, пьют чай, смеются, спорят... и все не о том. Поддерживают в Станкевиче сомнения.

Станкевич жаждал действия. Но какого? На попроще литературы? Науки? Философии? Общественной деятельности?

Ах, если бы знать. Закончив университет, он подвизался на должности почетного смотрителя Острогжского уездного училища. Потом из-за обострившейся болезни переехал в Москву.

«А может, махнуть за границу? В Германию? Продолжить образование?» — советовался с Неверовым.

«Это было бы просто замечательно», — поддерживал его в письмах и беседах Януарий.

Все они — те, кого мы сегодня объединяем понятием «кружок Станкевича», — шли своими путями, разлетались, как птенцы из гнезда. Но цель у них была одна — благо Отечества.

14

«Генварь! Прочти в «Молве», в декабрьских номерах, статью Виссариона «Литературные мечтания» и, коли найдешь возможным, скажи о ней в печати пару добрых слов.

Твой Станкевич».

— Господи, только пережили холеру, а теперь этот Белинский объявился, — неопрятно брызгал слюной Фаддей Венедиктович Булгарин, читая строки, которые ему «заботливо» подчеркнули в «Мечтаниях», — «...истинный бич и гонитель злых пороков, уже десять лет доказывает в своих сочинениях, что не годится

плутовать и мошенничать человеку *comme il faut*^{*}, что пьянство и воровство суть грехи непростительные, и который своими нравоописательными и нравственно-сатирическими (не правильнее ли полицейскими), — тут Фаддей Венедиктович даже притопнул от обиды, — романами и народно-юмористическими статейками на целые столетия двинул вперед наше гостеприимное отечество по части нравоисправления...».

— Щенок, — прошипел Булгарин, швыряя газету в угол. И вдруг ему явственно представился небольшой кривоногий бульдожка, который крадется к нему, внимательно глядя в глаза.

Фаддей отмахивается, бросает в щенка чернильницу, но бульдожка прыгает ему — бр-р-ррр! — на спину и впивается железными челюстями в тело. Фаддей отгоняет от себя видение, крестится, непроизвольно потирая вспотевшую жирную шею.

— Бульдог!

Отзывы о «Мечтаниях» были разные, большей частью ругательные. «Северная пчела» поспешила ужалить критика, упрекнув его в отсутствии патриотизма и знания отечественной истории. Петербургский журнальный триумvirат — Булгарин, Греч, Сенковский — дружно ополчились против Белинского, почуяв в его писаниях прямое покушение на их монопольное право распределять места на российском Парнасе.

Но была и другая реакция. Старик Каченовский пожал Виссариону руку, заметив: «Мы так не думали, мы так не писали в наше время...».

Один из немногих доброжелательных откликов на «Литературные мечтания» нашел место на страницах

* Приличному (фр.).

«Журнала министерства народного образования». Под рецензией стояла подпись — Я. Неверов.

В «Литературных мечтаниях», — отмечал Януарий, — так много истины, благородного участия и нравственной девственности...».

Читая Белинского, он встречал мысли, обсуждавшиеся на вечерах у Станкевича, чувствовал за многими влияние друга. Он разделял пафос статьи, ибо это была своеобразная квинтэссенция его со Станкевичем споров и мечтаний.

15

1835. Москва

Станкевич — Неверову:

«...Мы издаем стихотворения Кольцова; когда они выйдут, пожалуйста, напиши об них в «Северной пчеле», что ты думаешь о них. Пиши беспристрастно; ты, верно, найдешь в них хорошее, а недостатков не скрывай: ты выскажешь их так, как может высказать человек, уважающий чувство, в какой бы уродливой форме оно ни явилось».

Первое издание стихотворений Алексея Кольцова увидело свет в 1835 году. Официальные отклики на рождение в русской литературе оригинального таланта появились вскорости в «Журнале министерства народного просвещения» и «Сыне Отечества». Оба принадлежали перу Януария Неверова и, кроме верной в целом оценки дарования поэта-прасола, содержали важные биографические материалы. Ни один из исследователей творчества Кольцова впоследствии не проходил мимо этих публикаций. Были они использованы и Виссарионом Белинским в статье «Стихотворения Кольцова».

Статьи Неверова о Кольцове интересны не только своей фактической основой, но и подходом, методологией. В их основе лежит мысль о необходимости глубокого знания биографии писателя для верной оценки его творчества. Это убеждение заставляло Януария бережно сохранять мельчайшие факты, характеризующие близких ему общественных деятелей, представителей литературы и искусства. В архиве Неверова до сих пор находят интересные сведения о Пушкине и Лермонтове, Герцене и Белинском...

«Жизнь поэтов и художников должна быть известна публике, — отмечал Я. Неверов в статье «Поэт-прасол», помещенной в «Сыне Отечества», — иначе она не может вполне понимать их, вполне им сочувствовать. Эта истина давно всем известна, но для нее до сего времени у нас весьма мало сделано. Мы были невнимательны к нашим поэтам и литераторам, не старались узнать частную их жизнь, в коей, как в фокусе, сосредоточены все тайные движения души, породившие то или другое произведение, — и потому нам трудно дойти до общего взгляда на историю нашей литературы, до полного объема нашей духовной деятельности. Мы вовсе почти не знаем, как развивались, как мужали отечественные наши таланты; мы видим только, что они сделали, но не понимаем, почему делали так, а не иначе, что призваны были сделать и как исполнили свое призвание. Такое невнимание к жизни литераторов вредно для успехов словесности и несправедливо в отношении к лицам для нее трудящимся. Эти причины заставляют нас короче ознакомить публику с г. Кольцовым, тем более что талант его представляет явление, замечательное даже в психологическом отношении, как сильное стремление души вопреки всем обстоятельствам, средствам и отношениям жизни».

В начале 1836 года Кольцов по коммерческим делам приехал в Петербург, где, конечно же, первым делом навестил Неверова. Надо ли говорить, с каким восторгом принял Януарий поэта-самоучку, о котором ему рассказывал Станкевич и первая книга которого привлекла пристальное внимание публики?!

Попутно он перезнакомил с «самородком» всех друзей. Благо, они уже были наслышаны о появлении на поэтическом горизонте нового светила.

Кольцов вошел в моду.

— Чудная понятливость русского народа, возвышенная умозрительными науками, может произвести чудеса, — изрек князь Владимир Федорович Одоевский, пожаловавший на один из литературных вечеров, устроенных ради Кольцова Неверовым.

Действительно, ой как сметлив оказался Алексей Васильевич! И стихи умел прочесть, вышибая слезу, и помолчать, а когда надо — о ценах на сало и бычьей шкуры речь завести.

— Дурно дела идут-то. Сало по 11 рублей 25 копеек за пуд пошло, — жаловался. — Какие тут занятия поэзией, когда вот-вот в трубу вылетишь.

Солоны были подобные слова в петербургских салонах, привыкших толковать о высочайших предметах, но тем более приманчивы.

Короче, в несколько недель очаровал столицу Кольцов. Уже с Краевским Андреем Александровичем приятельски лобызался. Да что там Андрей Александрович! Сам Жуковский благоволил ему, даже государю представил!

— Всем моим счастьем обязан вам, любезный Януарий Михайлович, — оценил Кольцов перед отъездом. — Посему хочу устроить небольшую вечеринку на прощанье...

Вечеринка удалась на славу.

Даже Януарий, не бравший в рот хмельного, под натиском Кольцова был вынужден ретироваться.

А Алексей Васильевич просто лицедействовал! Откуда в нем только нашлось умение поддержать беседу, вовремя тост предложить? Ну, разве мог Януарий, к примеру, не выпить за здоровье милого друга Станкевича?! И выпил, чем дал повод слуге Гавриле, которого он безжалостно упрекал за пристрастие к вину, некоторое время беспрепятственно предаваться служению Бахусу.

Из Воронежа Кольцов прислал Неверову душевное благодарственное письмо, уповал о новой встрече.

Но встретиться им больше не было суждено.

16

1 июня 1835. Москва

Станкевич — Неверову:

«Милый друг мой Януарий! Давно уже не писал к тебе!..

Надеждин передает свой «Телескоп» Белинскому; с № 7 он поступит в его распоряжение, а мы понемногу все станем ему помогать. За это берутся и еще некоторые почтенные особы. Но об этом, пожалуйста, секрет. В «Наблюдателе» пишут много глупостей, хотя направление его и честно. Шевырев обманул наши ожидания: он педант. Разумеется, что не стану тратить времени на «Телескоп», но каждое воскресенье мне остается два-три часа свободных, в которые могу заняться для него; кроме того, мы всегда будем обществом совещаться о журнале...

Друг твой Н. Станкевич».

13 января 1835 г. Москва

«Милый друг мой Генварь!.. Как понимаю я твое сетование на пустоту души... Тяжело не иметь ни одной отрадной мечты за душою; по крайней мере в таком положении хотелось бы сознать, что ты живешь не напрасно, что ты совершишь подвиг.. Года через два и я надеюсь быть за границей, а пока поработаем. О моих занятиях и планах поговорим при свидании, тогда я, может быть, больше буду иметь права фантазировать о будущем, более довольный собою в настоящем, а до сих пор совестно и страшно подумать, как я мало сделал!

Я не чужд энергии, но часто теряю центр в моих занятиях и не знаю, куда иду: всякая вдохновляющая мысль покидает меня, и я брожу несколько дней в апатии, не зная, к чему устремиться.

Теперь я, кажется, лучше понимаю и себя, и людей, и знания. Но еще одна светлая мысль или безотрадное убеждение, и я пойду тверже, решительнее по избранному мною пути.

Ну, друг, не знаю, чем тебе дался Тимофеев? В «Северной пчеле» выписаны две его песни как образчик красоты, и эти две песни достойны Тредьяковского; эти две песни — пошлые мысли, выраженные варварским языком. После этого можно усумниться даже, что он умен. Как тебе нравятся №№ 7 и 8 «Телескопа», изданные Белинским? Заметь в последнем прекрасную статью: «Лютер на Вормском сейме». 9-й готовится. В нем осмелились пошутить над Шевыревым, который с важностью говорит о реформе в русской просодии и хочет ввести итальянскую! Не говоря уже о нелепости этой мысли, подумай, как не стыдно в наш век, богатый человеческими интересами, думать о переменах в просодии? Талант сам создаст ее...

Твой Станкевич».

26 октября 1835. Торжок

«Друг Январь! Вот я на возвратном пути из Премухина. Мы едем вместе с Бакуниным в Тверь, где я пробуду у них еще один день и потом возвращусь в Москву. Ефремов с нами. Я подружился с Мишелем: чистая и благородная душа! Зная нашу дружбу, он хочет с тобою поближе познакомиться и пишет к тебе. Может быть, в январе мы вместе с ним приедем в Петербург..

Я составил планы, которые сообщу тебе при свидании; надеюсь, ты будешь в них участвовать, а до тех пор трудись и пиши к твоему другу. Я дам тебе отчет в занятиях и чувствах... Я очень рад, что Мишель выбрал одни занятия со мною: мы будем переписываться друг с другом очень серьезно насчет этих занятий...

Твой Станкевич».

17

А между тем надвигалось время испытаний.

Октябрь 1836

Из разговора.

— Как, вы не читали письмо из Некрополиса? В пятнадцатом номере «Телескопа». Бедный Надеждин. Не так давно он писал свои записки из Бельфора, а теперь, похоже, ему придется отправиться в противоположном направлении. Говорят, Андросов со всеми бьется об заклад, что к 20 октября «Телескоп» запретят, цензора отставят, а Надеждина посадят в крепость.

О чем письмо? Вздорные утверждения, что Россия не имела прошлого, как не имеет настоящего и буду-

шего. Но многие мысли преострые и презанятные. Автор Петр Яковлевич Чаадаев. Да-да, тот самый, что добивался в Троппау расположения государя и потом вышел в отставку. Видать, еще не перебродила желчь. Журнал теперь достать практически невозможно, но исключительно для вас... на один вечер...

Когда за Николаем Ивановичем Надеждиным пришли, он испугался. То есть он, конечно, понимал, что так просто ему «Философическое письмо» не пройдет. Но — надеялся. *Dum spiro, spero**. Зря надеялся. Переполох, как видно, заварился порядочный. Не стоило, пожалуй, рисковать. Ну кому и что доказал? Что изменил?

Да, Николай Иванович струхнул.

В Петербурге его поместили у Цепного моста, в печально известном здании III Отделения.

Начались допросы, которые были поручены специальной комиссии, возглавляемой Бенкендорфом и Уваровым.

Николай Иванович изворачивался, как уж, клялся в преданности Николаю I так горячо, что вызвал недобрую усмешку у Александра Христофоровича.

Нет, совсем неумно вел себя Надеждин. Поэтому и выдохся быстро, признав полностью виновность «в напечатании статьи дикой, нелепой, чудовищной, наполненной грубыми клеветами и оскорбительными дерзостями».

Теперь в улыбке Александра Христофоровича появилась некая надежда.

И Николай Иванович, махнув на все рукой, рассказал много такого, чего не стоило рассказывать, о чем он будет впоследствии горько сожалеть. Думал про-

* Пока дышу, надеюсь (лат.).

стодушно, что дальше этих тихих зловещих комнат дело не пойдет.

Еще как пошло!

14 августа 1837. Пятигорск

В. Белинский — К. Аксакову:

«...Слова два о Надеждине. Я не сержусь на него нимало, не ненавижу его, даже люблю по какому-то воспоминанию о моих прежних с ним отношениях. Он человек добрый, но решительно пустой и ничтожный. Жаль только, что он пустотою и ничтожностью своего характера может делать много зла людям, находящимся с ним в тесных отношениях. Это я еще недавно испытал на себе.

На Кавказе лечился генерал Скобелев, которого обругал в «Молве» 1835 года Селивановский в безымянной статейке, как он это всегда делает по свойственному ему благоразумию. Скобелев один раз, столкнувшись со мною на водах, спросил меня: «Вы г. Белинский?» — «Я». — «Очень рад: я давно желал познакомиться с вами». Наговорил мне тьму комплиментов и потом спросил меня, за что я его разругал. Я ему сказал очень резко, что не люблю отказываться от моих литературных дел, хороши ли они, дурны ли; что, высказывая резкие мнения о том и о сем, я никогда из чувства страха не отказывался от них; но что об нем писал не я, а Селивановский. «Как не вы, да Надеждин сам был у меня, просил извинения и сказал мне, что это написали вы. И хорошо, что он извинился передо мною, а то ему было бы худо: я хотел жаловаться императору. Нехорошо, братец, быть так заносчивым: Греч мне именно сказал о тебе, что ты голова редкая, ум светлый, перо отличное, но что дерзок и ругаешься на чем свет стоит». В этом духе продолжал-

ся наш разговор. Он продолжал осыпать меня комплиментами и в то же время ругал Надеждина с таким остервенением и таким тоном, что я не мог не заметить, что все эти ругательства относились ко мне, а не к Надеждину, который, поклонившись его превосходительству повинною головою, получил полное его прощение. Расстались мы дружески: он пожал мне руку и пригласил к себе. Каков Николай Иванович? Не говоря уже о том, что он не знает, кто и что у него пишет, он еще выдает с головою сильному человеку своего сотрудника, который мог безвозвратно погибнуть от одного слова этого сильного человека».

Действительно, мог погибнуть Белинский. И, вероятнее всего, отправился бы вслед за Надеждиным в какой-нибудь Усть-Сысьольск, если бы...

18

Как мы порой зависим от этого — ЕСЛИ БЫ! Страшно подумать! Может быть, где-нибудь неподалеку Аннушка уже разлила масло. А мы беззаботно строим, подобно Берлиозу, планы, продолжаем по инерции, а вернее — по неведению делать непростительные ошибки, которые — будьте покойны! — не забудут вспомнить!

Если бы!

Если бы — можно было подстелить соломки...

Впрочем, к чему?! Разве «если бы» — не судьба?!

Сергей Семенович Уваров не особо вникал в умонастроения своих сотрудников. Он полагал, что его высокого покровительства достаточно, чтобы рассчитывать на преданность и благодарность до гроба. На Январия он смотрел именно как на безгласный инструмент.

А у инструмента был голос, были убеждения — причем зачастую противоположные взглядам мецената. Сергей Семенович, упоенный своим могуществом, не замечал этого.

— Полагаю, что бумаги Надеждина находятся у некоего Белинского, сотрудника по журналу, — обронил в случайной беседе Уваров, осведомлявшийся, какое впечатление на петербургскую публику произвел арест Николая Ивановича и запрещение «Телескопа». — Государь приказал схватить все бумаги этого смутьяна. И коли что обнаружится, строго наказать. Надеюсь, вы, Януарий Михайлович, не разделяете мнения Чаадаева?

— Ни в коем случае, — с облегчением выдохнул Януарий. — Наоборот, я полагаю, что у народа русско-го впереди самая блестящая будущность...

— Вот-вот, — благодушно добавил Сергей Семенович, — все бы так думали и трудились на благо Отечества.

«Ну, а если письмо арестуют? Перехватят по дороге? — представлял Януарий, отправляя в Москву депешу.— Во второй раз «высочайшим дураком», пожалуй, не отделаться: наверняка припомнят и стихи Полежаева, и благодарность Антоновича... Если Чаадаева, не мудрствуя лукаво, объявили сумасшедшим, то его, неприметную козявку Януария Неверова, просто смахнут, как пушинку с мундира, и — фу!».

Однако мог ли он не рискнуть, зная, что, произведя обыск у Белинского, могут наведаться и к Станкевичу?!

Ужели коварный выстрел Филиппа вечно уготован Позе?!

Что и говорить, история пристрастна. Есть у нее свои любимчики, о которых постоянно говорят и

пишут... А другой и сделал не меньше, да никак не пробьется к потомкам, как Каразин, к примеру. Белинского спас Януарий, хотя в некоторых книгах фигурирует Станкевич. Называют даже Надеждина. О Неверове же упоминают в сносках, набранных нонпарелью, да в примечаниях, куда редкий читатель сует любопытный нос.

Представить страшно, что было бы, наткнись ищейки на письмо...

Обошлось. Письмо сделало дело. Белинского обыскали и вынуждены были убраться, несолоно хлебавши. Компрометирующие бумаги удалось вовремя уничтожить. Вместо казенного дома укатил Неистовый Виссарион на Кавказ, в Пятигорск, поправлять здоровье.

19

У Януария было счастливое свойство располагать к себе самых различных людей.

Сначала на него, как правило, смотрели с некоторым доброжелательным сочувствием: слишком уж необычно выглядела его угловатая фигура, запоминалась подвижная физиономия с щетинистыми усиками. Потом сочувствие незаметно перерастало в симпатию и уважение.

Уважать было за что. О безграничной доброте Януария чуть ли не анекдоты рассказывали.

Неудивительно, что в Петербурге вокруг Неверова довольно скоро оформился небольшой кружок единомышленников. На вечерах, которые Януарий время от времени позволял себе устраивать для друзей, он всеми силами стремился привить московские традиции. И, кажется, это у него получалось.

На огонек к Неверову заглядывали начинающий литератор, поборник идеи женской эмансипации Иван Иванович Панаев, поэт Алексей Васильевич Тимофеев, писатель Евгений Павлович Гребенка, старые приятели по университету Павел Яковлевич Петров и Сергей Михайлович Строев, а также знаток Востока Василий Васильевич Григорьев. На книгу последнего «О древних походах руссов на Восток» Януарий написал рецензию в «Журнале министерства народного просвещения», и с тех пор у них завязались самые теплые отношения. Василий Васильевич свел Неверова с выпускником Петербургского университета, мечтавшим посвятить себя научной деятельности, Тимофеем Николаевичем Грановским.

— К профессорской кафедре необходимо готовиться в Берлинском университете, — считал Грановский.

Германия была у всех на устах: Шиллер, Гете, Шеллинг, Фихте, Кант, Гегель. Кто из русских интеллигентов в XIX веке не переболел этими именами?!

«Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее по себе бытии», — писал Герцен в «Былом и думах». — Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он; так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шаллеры,

Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал «привратником гегелевской философии», — если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их покупали».

Характеризуя восприятие философских и эстетических идей в русской просвещенной среде, Герцен отмечал несколько этапов их освоения.

«Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью.

Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренне. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку к «гемюту»* или к «трагическому в сердце»...».

То ж в искусстве. Знание Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане.

Однако период пассивного «ученичества» у немцев был сравнительно короток, за ним последовали

* Душевному состоянию (от нем. Gemut).

попытки соединить теорию с жизнью, найти подходящее философское оправдание для преобразования мира на основах гуманизма.

Не было мало-мальски просвещенного русского человека, который в первой половине XIX века не мечтал бы побывать или не побывал в Германии, чтобы послушать лекции знаменитостей, набраться учености. Однако практичный русский ум сделал впоследствии из этих штудий свои выводы, шагнул с идейного диспута в общественную практику.

В Германию рвался Грановский. О Германии не раз заговаривал Станкевич. И у Неверова подспудно зарождалась заманчивая мысль о паломничестве в философскую Мекку, о возможности посетить священные места, связанные с именами Шиллера и Гете, Гофмана и Тика.

Необходимо, впрочем, заметить, что Януарий был подвержен идеологическим исканиям в меньшей степени, чем его друзья. Всю жизнь он оставался в плену романтических теорий, чему способствовал как склад его характера, так и то, что в период формирования мировоззрения наш герой попал в «гнездо» русского романтизма. Вспомним общение с Лихониным и Камашевым, салон Мельгунова.

Петербургские друзья Януария большей частью были также последователями романтизма.

Оторванный от кружка Станкевича в 1833 году, Неверов словно «законсервировал» идеи дружеского общества на раннем периоде.

Станкевич, Белинский и Бакунин стремительно шли вперед — от романтического к реалистическому миропониманию, продирались через кисею идеалистических мечтаний. Многие из вчерашних единомышленников отставали от их неистового движения.

Чем больше становилась дистанция, тем ошутимее назревал конфликт, обнаруживались поводы для разногласий. Кружок неизбежно и закономерно распался.

Думается, именно тут корни трагедии нашего героя. Его воображение создало идеализированный «забальзамированный» образ Станкевича, а Станкевич в 1840 году был совсем не тот, что, скажем, в 1831-м.

В переписке друзей после 1833 года все ошутимей нотки диссонанса. Станкевича удивляют симпатии Неверова к творениям Бенедиктова и Тимофеева, раздражает отрицательная оценка гоголевского «Ревизора»...

20

15 февраля 1836. Москва

Станкевич — Неверову:

«Любезный друг Генварь! Я получил от тебя уже два письма и ни на одно не отвечал...

Я тоскую. Мне хочется подальше. Беспрестанные усилия над собою, беспрестанные сомнения в себе, занятия, которых цель еще далека, — все это бременем ложится на душу. Кавказ представляется мне в каком-то очаровательном свете. Доктор говорит, что он возродит мой организм, а я тайно надеюсь, что он возродит и душу. Мы чудно созданы. Действительность беспрестанно дает нам знать, что она действительность, а мы все ждем чудес... я стыдился этого направления, я думал, что это следствие нашей неестественной жизни, убитого организма и убитой души... но люди молодые, свежие, в которых поселилась искра Божия, страдают тем же недугом. М. Бакунин говорит мне, что каждый раз, когда он возвра-

щается откуда-нибудь домой, ждет у себя чего-нибудь необыкновенного... как неистребимо это суеверное упование на судьбу, которая холодно и неумолимо разрушает лучшие мечты наши! И каждый удар ее невольно стараешься объяснить какую-нибудь благою целью, и, я думаю, так будем делать до самой смерти. И, может быть, в самом деле ведет она, но ее руководством пользуются те, которые переживают нас; ее забота в том, чтоб мы не вырвались из звеньев этой цепи, которую кует она от первого человека, — и это еще лучшая участь быть ее орудием, и за это еще должны мы благодарить Бога! Впрочем, в экономии природы всякая дрянь есть необходимость, и если мы будем дрянь, то она и этим воспользуется, точно как пользуется нашим счастьем, страданием, нравственностью и безнравственностью.

Благодарю тебя за знакомство с Т.Н. Грановским. Это милый, добрый молодой человек, и на нем нет печати Петербурга...»

21

Станкевич влюбился. Смутила его сердце Любаша Бакунина. Он долго сомневался в ответном чувстве, мучил себя сомнениями. Как крик о помощи, полетело в Петербург письмо к единственному другу: «По приезде ты не должен ни у кого останавливаться, кроме меня...». Януарий, бросив дела, спешит в Москву. Вместе они отправляются в имение Бакуниных, где 23 ноября 1836 года наконец произошло объяснение Николая и Любаши. Он слышит в ответ: «Да».

Станкевич на вершине блаженства. Уехав в Москву, он редкий день не шлет любимой весточку.

20 января 1837. Москва

Станкевич — Л. Бакуниной:

«Вот уже несколько дней, как от Вас нет писем. Это меня тревожит. Вы были нездоровы, маменька Ваша чего-то боится и огорчена — все у Вас в такой дисгармонии... Когда кончится этот проклятый генварь?..

Пишите ко мне. Я уже давно не получаю ничего от Вас — неужели эти сомнения заставили Вас решиться прекратить все сношения со мною? Нет, этого быть не может! Что же это? Что-нибудь хуже, нежели сомнение? Но я не хочу останавливаться на этой мысли. Вы бы все сказали мне прямо; пощада пагубна в таких случаях — я могу все перенести с твердостью, с энергией, все, кроме жертвы...»

3 марта 1837. Москва

Станкевич — Л. Бакуниной:

«Со мною делается что-то непостижимое. Я так быстро, так часто перехожу из одного состояния в другое, что, наконец, теряюсь и не умею дать себе в этом отчета. Мои расстроенные нервы играют здесь не последнюю роль, физическое страдание представляет весь свет в таком черном виде, но это проходит и мне опять легче.

Сегодня — такое очаровательное утро. Солнце делает на меня всегда приятное впечатление, оно отогревает душу: так всему веришь, всего надеешься, пробуждается старое суеверие, старая доверчивость к судьбе и чудесам в Божьем мире. Первая мысль об Вас: в этом чудесном свете Вы являетесь мне тихим, кротким ангелом мира, который послан украсить жизнь мою, расцветить ее радужным цветом любви.

Знаете ли, есть минуты, в которые мне странно бывает представить нас вместе в простых, близких,

людских отношениях. Вы мне казались так святы, так недоступны. Вы были для меня видимое Провидение, видимое божество. Я не думал, чтобы судьба могла соединить нас когда-нибудь, — и вместе питал суеверную надежду на ее милости. И если бы мы не узнали, что необходимы друг другу, все-таки жизнь моя протекла бы под сенью Вашего образа; все святое и прекрасное внушено было бы Вами. И теперь, когда нам предстоит вечный, неразрывный союз, Вы все остаетесь для меня так же святы; я с таким отрадным чувством благоговения сознаю все Ваше превосходство надо мною, с таким упоением готов преклониться перед Вами — душа нуждается в этом видимом божестве, ей необходимо в живом образе увидеть мир и любовь, которые потемнены во вселенной.

Зачем я теперь не с Вами? Эти прекрасные дни, эта жизнь, которая пробуждается в природе, были бы для меня вдвойне упоительны — мы бы любовались на чудесный колорит весеннего неба, ощущали живое биение вечной любви в природе!»

Через некоторое время сомнения с новой силой начинают беспокоить Станкевича. Анатомируя их, он только множит противоречия в душе.

Совместима ли вечная любовь с любовью к земной женщине, с браком? Разве божественное чувство при соприкосновении с грубой действительностью не обречено на гибель?

Станкевич мечется. Нет, пожалуй, он ошибся, но как сказать об этом Любаше? Вернуть слово, расторгнуть помолвку? Тогда он предстанет перед всеми последним негодяем. Почему любящее существо должно расплачиваться за его преступную ветренность?

Бежать!

Единственный выход — бежать! Бакуниной об истинных причинах отъезда — ни слова.

Авось — все само собой уладится!

Куда бежать? Естественно, в Германию. Тем более что врачи настоятельно рекомендуют ему поездку за границу для поправки здоровья. Попутно можно продолжить занятия философией.

17 апреля 1837. Москва

Станкевич — Неверов:

«Любезный друг Генварь! Я совсем собрался в путь; грустно, мочи нет — сам не знаю отчего! Мне ужасно хотелось вон из Москвы, мне лучше будет на свободе, но выехать ужасно грустно!., ничего за душою!.. Прощай! Грановский скажет тебе мой адрес. Мы с ним подружились, как люди не дружатся иногда за целую жизнь. Прощай, Христос с тобою!

Твой Станкевич...»

Николай в смятенных чувствах уехал в Карлсбад, даже не заглянув в Прямухино, как обещал Любаше.

Януарий, конечно же, догадывался, что творится в душе Николая. Понимал и то, что Станкевич ждет от него поддержки. Его долг — спасти друга. Он чувствует, что судьба уже занесла свою длань над ними.

Пришло время потерь.

Именно как глубоко личную трагедию воспринял Януарий смерть Пушкина.

29 января Неверов пишет Грановскому: «Пожалей, милый Грановский, со всею Россиею о важной потере: наш поэт, наш единственный поэт Пушкин не существует более. Сего дня в три часа после обеда он окончил жизнь — и какую жизнь, бурную, славную, окончил от пули. Женщина осиротила Россию, но не обвиняй эту женщину; сам поэт на смертном одре своем

оправдал ее. Третьего дня, в четыре часа после обеда, он стрелялся в Новой Деревне с кавалергардским офицером Дантезом. Сам Пушкин вызвал его. В ноябре он получил несколько безыменных писем, в которых называли его рогоносцем. В генваре, т.е. две недели тому назад, он выдал сестру жены своей за Дантеза, принудил его жениться на ней, а через три недели после свадьбы вызвал на дуэль. Вот факты! По городу ходит тысяча слухов, предположений, но он сказал, что жена его невинна, поверим же ему. Это его последнее святое завещание. Пушкин требовал дуэли на смерть — они стрелялись в десяти шагах. Первый выстрелил Дантез, и пуля попала в бок поэта — он упал, но тотчас же опомнился и просил своего секунданта поддержать ему голову, взял пистолет и, ранив Дантеза в руку, сказал с досадою своему секунданту — *et je ne l'ai pas tué!** — в семь часов его привезли домой. Тотчас же узнал об этом весь город... Мне кажется, если б я потерял брата, я не мог бы более сожалеть о нем, как сожалею о несчастном поэте. Его квартира возле моей, и я по нескольку раз в день выходил на улицу — останавливался пред окном его спальни, а мысль, что в трех шагах от меня угасает жизнь, славная, великая, наполняла душу высокими, но грустными помыслами, не один раз доводилось отирать с глаз слезы».

Януарий скорбел о Пушкине, но в глубине сознания прятал мысль о Станкевиче.

Мечта поехать за границу для продолжения образования преследовала Неверова давно.

Грановский только укрепил его в ней. Участвуя в «Энциклопедическом словаре» Плюшара и давая

* Я его не убил! (фр.)

частные уроки, Януарий скопил некоторую сумму, которая позволяла ему прожить за границей недолгое время. А что же служба? Карьера?

Чин следовал ему, он службу вдруг оставил.

Директор департамента народного просвещения князь Ширинский-Шихматов недоумевал: с месяца на месяц следовало ожидать производства Неверова в титулярные советники, а он уезжает в Германию. Такой благонамеренный молодой человек — и вдруг..

Януарию все-таки выхлопотали звание члена археологической комиссии при министерстве народного просвещения, чтобы как-то закрепить связь со службой. Звание это, впрочем, не давало никаких прав, а тем паче материальных средств.

Итак, наш герой отправился в Берлин.

Маркиз Поза спешил вслед за Карлосом.

Клятва

1

Неверов и Грановский приехали в Берлин раньше Станкевича. Квартиру сняли на Нойештедтише-Кирхштрассе неподалеку от церкви Доротеи. Здесь же, на бельэтаже, за 20 талеров сторговали приют для Николая.

Размеренность жизни прусской столицы пришлась им по душе. Она располагала к занятиям наукой. Поначалу друзья подолгу ходили по городу, напоми-навшему им отчасти Петербург, слушали странствующих музыкантов, любовались картинками волшебного фонаря, посещали театры. И дожидались Станкевича.

А тот в начале сентября был в Кракове, потом дилижансом добрался до Праги, откуда перебрался в Карлсбад. Во второй половине октября Станкевич ненадолго задерживается в Дрездене, где первым делом спешит в Цвингер, чтобы увидеть «Сикстинскую мадонну» Рафаэля.

Он чувствует себя в Германии значительно лучше. Здоровье вроде бы идет на поправку.

Однако нравственные мучения не покидают Станкевича. Вправе ли он сообщить правду Любаше? Любил ли он и способен ли вообще на глубокое чувство?

Мишель Бакунин и Белинский знали о его охлаждении к невесте, однако сама Любаша оставалась в

неведении, полагая, что с приездом Станкевича из-за границы все устроится.

Неверов носился по квартире, как маятник, а потом не утерпел, поспешил навстречу другу, чем несказанно растрогал Станкевича, описавшего в одном из писем эпизод встречи.

«В Потсдаме, за 4 мили от Берлина, явилось перед окнами нашего эйльвагена странное лицо, которое своим воинственным выражением заставило меня подумать, что тень Фридриха Великого пришла взглянуть на свой вахтпарад или едет в Берлин учиться гегелевой философии.

Но скоро я увидел, что это лицо нового мира. Длинный черный сюртук охватывал его угловатые формы; на белом бледном лице резко выставлялись синие очки; щетинистые усы защищали верхнюю губу от нападений табака, который временами сыпался из его величественного носа. Всматриваюсь — Неверов!».

Они тотчас заказали место в дилижансе, и по дороге Януарий, захлебываясь от восторга, поведал Станкевичу впечатления от поездки на Гарц, от ночевки на Брокене, откуда он прихватил букетик каких-то цветов.

— Что брокенские ведьмы? — пошутил Станкевич.

— Приняли за своего, — подхватил Неверов. И потом без всякой связи добавил: — Вот увидишь, все будет хорошо. Как в добрые московские времена.

— Дай-то Бог!

Но старые времена ушли — не воротишь.

— Вы мне прямо райский уголок приготовили, — искренне радовался Станкевич, обходя новые свои владения. Квартира действительно была на славу. Две комнаты с веселыми обоями, красивая мебель, ковры на полу.

Постепенно сложился своеобразный ритуал берлинского времяпровождения. Утром — занятия или университетские лекции. Раз в неделю — обед у Ягора, на котором настоял Станкевич, чтобы хоть как-то поддержать своих друзей. После обеда следовала традиционная чашечка кофе в кондитерской Кранцлера. Далее — домашние занятия: чтение, музыка, изучение языков.

Вечером — роскошь! — театр или прогулка за город, в Тиргартен.

2

23 ноября 1837. Берлин

Станкевич — А.П. Ефремову:

«Мы ведем самую тихую жизнь в Берлине. Грановский старается мне всеми мерами объяснить логику и не столько успеваеет в этом словами, сколько пальцами. Это прекрасный способ.

Неверов занимается собиранием материалов для истории орденов; я занимаюсь составлением лекций из истории новой философии и сегодня примусь с заботливостью и старанием за Декарта.

Слава Богу, из введения кой-как выбились. Наш профессор Вердер молод, хорош собою — несколько похож на тебя — и вообще человек хороший. Мы слушаем еще Ранке, к которому я сегодня за дурною погодою не пошел; его лекции обещался составить Грановский, что мне очень приятно. Привыкаю к работе и аккуратности, а что касается до бережливости, то ей! ей! еще никогда я так не жил — деньги записываю ежедневно. Видишь ли, что меня стоит погладить по головке. Приезжай к нам, и ты умен будешь...»

Скучать им не приходилось. Судьба, расщедрившись, дарила новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Одновременно со Станкевичем в Берлин приехала семья Фроловых.

Николай Григорьевич — гвардейский офицер в прошлом, студент Дерптского университета.

Елизавета Павловна, урожденная Галахова, была женщиной недюжинных способностей и замечательных душевных качеств, а кроме того, подобно Станкевичу, она обладала талантом сблизить людей. В Берлине вокруг нее скоро образовалось небольшое общество, предметом обсуждения которого являлся широкий круг вопросов — от положения в России до состояния молодой литературы в Германии. На вечера к Фроловым приходили такие знаменитости, как Александр Гумбольдт и автор нашумевшей «Переписки Гете с одним ребенком» Беттина Арним. Здесь можно было встретить многих профессоров Берлинского университета, в том числе и Вердера, близко сошедшегося со Станкевичем, Грановским и Неверовым.

25 февраля 1838. Берлин

Станкевич — родственникам:

«...М-г и m-me Фроловы доставили нам своим приездом в Берлин много удовольствия: они оба очень образованные люди, а она — женщина с редким умом. Русские и иностранцы дорожат ее знакомством».

Время безмятежно плескалось в своих берегах. Януарий вблизи друга развил бурную деятельность.

Помимо собирания материалов для истории орденов, он изучал современную немецкую литературу, заглядывал в философские трактаты, бегал с друзьями по театрам, спорил до хрипоты о популярных оперных певицах Фассман и Леве, о комических ролях фон Хаген.

Верхом счастья для Неверова стала совместная поездка в Веймар — город, по выражению Станкевича, освященный памятью Шиллера и Гете.

24 июня 1838. Эмс

Станкевич — Л. А. Бакуниной:

«...Переодевшись, мы тотчас же отправились отыскивать их дома, и Неверов угадал дом Гете по его простой, красивой наружности и статуям, которые смотрели из окон. На дом Шиллера нам указали: простенький, с зелеными ставнями и мезонинчиком, он смотрится *recht burgerlich** и принадлежит какому-то частному человеку. Нам доставляло большое удовольствие угадывать, хоть это не всегда удавалось. Недалеко от дома Гете театр, очень красивый снаружи. Мы имели рекомендательное письмо к *madame Goethe*, вдове его сына; скоро по приезде послали к ней свои билеты и получили приглашение на вечер. С благоговением входили мы на лестницу, против которой стояли, не помню уж, какие-то колоссальные бюсты, и скоро явились в гостиную, где *m-me Goethe* предупредила очень трудные в таком случае речи с нашей стороны вопросом: «*Darf ich Sie in der deutschen Sprache anreden?*»**. Мы отвечали утвердительно, и она стала шутить над трудностью наших имен и реши-

* Совершенно мещански (нем.).

** «Могу ли я обратиться к вам на немецком языке?» (нем.)

ла не произносить их. Она очень умна и любезна, как и другие дамы, здесь бывшие, но, кажется, не более... Разговор был для меня не слишком интересен, и я часто отводил глаза от общества на портрет Гете, говорят, самый схожий, с светлым, прекрасным, мужественным, улыбающимся лицом. M-me Goethe сама подошла к нему и хвалила удивительное сходство — эта минута перед его портретом одна уцелела для меня из всего вечера. На другой день мы смотрели его жилище, собрание статуй, минералов, и, что всего дороже — его cabinet d'études*, где лежали манускрипты его сочинений. Как жадно смотреть на них, как хочется уловить душевное его волнение в каждой, едва заметной, черте; наконец, мы видели спальню его, постель, кресло и последнее лекарство; еще перед этим мы посетили гроб его. Он стоит рядом с Шиллером в фамильной могиле великих герцогов. На них по лавровому венку и простая надпись: Шиллер — Гете...»

5

Впрочем, не все было так безоблачно, как могло показаться.

В Берлине между Януарием и Станкевичем словно трещинка какая-то возникла. Нет, внешне все оставалось по-прежнему, однако все чаще возникали разногласия, все реже оценки Неверова совпадали с оценками Николая. Станкевич тоже чувствовал, что их пути понемногу расходятся, поэтому старался быть к Неверову особенно предупредительным и нежным. За трагедией любви его подстерегала трагедия дружбы.

* Рабочий кабинет (фр.)

— В Удережке у нас колодец был, — принялся он как-то ни с того ни с сего рассказывать Януарию о детстве. — Все боялись, что я в него свалюсь. И в самом деле меня просто притягивала сырая таинственная темнота, на дне которой поблескивало зеркальце воды. Чуть родители проморгают, я уже на сруб лезу. Зарыть колодец хотели, закрыть холстиной.

— Чем же все кончилось?

— А прошло. Само прошло. Достали как-то ведро воды, а в нем лягушка. И весь интерес к колодцу почему-то пропал. — Станкевич помолчал. — Ты, Генварь, напоминаешь мне человека, который, чтобы не отравлять себе жизнь несообразностями действительности, затянул их холстиной, как колодец, и делаешь вид, что их — просто нет. Боишься сорвать покрывало, чтобы гармонию не разрушить... Но ведь колодец-то существует! Су-ществ-ву-ет! И воду из него берут!

Неприятны для Неверова были эти монологи Станкевича. Он отшучивался: «Горбатого могила исправит...»

Изо всех сил старался он поспевать за стремительной мыслью Николая, порывался вслед за другом выбраться из романтических туманов на чистое пространство.

Но холстинка, оказывается, отрывалась с мясом. Януарий дулся на Станкевича, брюзжал, что тот меняет взгляды, как перчатки.

Когда-то, студентами, в искусстве видели они вершину мироздания. Теперь же Николай сменил «кумира».

— Примат у философии. Мещане увидели слова «философия Гегеля» и сказали: сухо. Надо за ним сле-

довать, чтобы увидеть, какая жизнь выходит из этой громады, — прочитал он однажды Неверову с Грановским наброски статьи «Об отношении философии к искусству».

Друзья выслушали Станкевича одинаково внимательно, однако их реакция была разной.

Грановскому основные выводы статьи пришлось по душе. Неверов, напротив, уклонился от комментариев, полез в карман за табакеркой, проворчав:

— Участь наша горькая...

Станкевич, кажется, вполне понял смысл этой будто бы случайно оброненной фразы.

6

Центростремительные силы времени настойчиво тянули в воронку реальных, жизненных проблем: в большей степени «реалиста» Станкевича, в меньшей — романтика Неверова. Но — тянули. Из философских эмпириеев они все чаще опускались на землю. Говорили о произволе властей, о необходимости отмены крепостного права, спорили о будущем России.

Станкевич рвался на родину, жаждал действия.

— Мне хочется работать, но так, чтобы результат моей работы был в ту же минуту полезен другим. Пока я вне России, этого сделать нельзя. Мне кажется, я могу действовать при настоящих моих силах и действовать именно словом.

Однако этим планам мешала болезнь. Станкевич не унывал, надеялся, что друзья начнут их общее дело, а он, подлечившись, свое наверстает.

...Мы предполагаем, а жизнь располагает.

С каким же «словом» хотел ехать в Россию Станкевич?

«Однажды на вечере у одной весьма образованной русской дамы, — вспоминал впоследствии Неверов, — оставившей отечество и жившей постоянно за границей, шла речь о преимуществах народного представительства в государстве, о всесловном участии народа в несении государственных повинностей и о доступе ко всякой государственной деятельности. Когда по окончании этого вечера мы возвратились домой и, естественно, оставаясь под впечатлением вечерней беседы, обсуждали поднятый на ней вопрос, Станкевич обратился к нам с таким замечанием:

— Председательница беседы забывает, что масса русского народа остается в крепостной зависимости и потому не может пользоваться не только государственными, но и общечеловеческими правами; нет никакого сомнения, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития, и потому прежде всего надлежит желать избавления народа от крепостной зависимости и распространения в среде его умственного развития. Последняя мера сама собою вызовет и первую, а потому, кто любит Россию, тот прежде всего должен желать распространения в ней образования, — и при этом Станкевич взял с нас торжественное обещание, что мы все наши силы и всю нашу деятельность посвятим этой высокой цели».

Под влиянием подобных бесед Януарий, отложив в ящик стола историю орденов и ганзейских контор в

Новгороде, статьи для Плюшара, за несколько вечеров написал драму, в основу которой легли впечатления детства. Много, конечно, забылось, однако не стерлись из памяти история несчастной любви Федора и Афимьи, свист розог на заднем дворе, маленький тщедушный дед, с пеной на губах кричащий: «Валяй его...».

Януарий ясно видел голубые глаза Федора, смотревшие на него, казалось, с немим укором и ожиданием.

8

В октябре 1838 года Станкевич получил от Белинского письмо.

«Наконец я собрался писать к тебе — и в первый раз письмо к тебе — для меня тяжелый долг. Я бы и не стал совсем писать, но вижу, что кроме меня этого сделать некому. Приготовься услышать печальную весть — ее уж больше нет: она умерла, как умирают святые, — спокойно и тихо. Катастрофы не было: тайна осталась для нее тайною. Болезнь убила ее. За месяц до смерти П. Ключников лечил ее. Он говорит, что для спасения ее опоздали пригласить его целым годом.

По крайней мере он облегчил ее страдания, и она так полюбила его, что ей становилось легче от его присутствия. Если бы не Станкевич (говорила она ему за день до смерти), я вышла бы за вас замуж. Умерла она 6 августа. 15 июля я приехал в Москву из Прямухина, где пробыл 10 дней с Боткиным. В это время три раза видел я ее лицо желтое, опухшее от водяной, но все прекрасное и гармоническое. С ангельским терпением переносила она свои страдания. Тяжело быть вестником таких новостей, но Бог милостив — и сохранит тебя. Ах, Николай, зачем не могу я теперь быть подле

тебя и вместе с тобою плакать... Я плакал, много плакал по ней — но один. Будь тверд».

9

Смерть Любаши Бакуниной разбила безмятежность берлинской жизни. Особенно тяжело было Станкевичу.

Зиму не пережили, а переждали, но весна не принесла успокоения.

Весной врачи порекомендовали Николаю продолжить курс лечения в Италии. Он уехал в августе, но прежде Станкевича Германию покинули Неверов с Грановским.

Прощание было грустным.

По новому пути

1

Без места, без гроша в кармане, с тягостным чувством неизвестности вернулся Януарий в Петербург. Все предстояло начинать сначала. Подобно безрассудному пловцу бросился он навстречу новым испытаниям, разом перечеркнув прежние надежды.

К черту — редакторство в журнале!

К дьяволу — никому не нужные литературные опысы!

Просвещение народа — вот смысл его существования отныне.

Что-то ждет его впереди?

2

Андрей Александрович Краевский встретил Неве-рова как родного, однако был, признаться, немало огорошен, услышав довольно категоричный отказ от сотрудничества. «Гордец», решил он про себя. «Да у него просто ум за разум зашел, — разводили руками некоторые давние знакомые Януария, — начитался Гегеля».

Януарий только подогревал эти разговоры, пытаясь категоричностью суждений и поступков скрыть охватившее его смятение.

Был, был, конечно, соблазн повернуть все вспять, по старому руслу: пописывать статейки, ходить по салонам, в лучших театрах слушать музыку и смотреть блистательных актеров, получать, наконец, положенное жалование и делать незаметное, но, вероятно, полезное обществу дело.

Был соблазн. Однако течение уже увлекло его достаточно далеко, чтобы что-то изменить.

3

Сильные мира сего любят иногда поиграть в меценатов. В самом деле, разве помешает иметь зримое подтверждение своего благородства, доброты и душевной чуткости?!

Нечто подобное, наверное, испытывал Сергей Семенович Уваров, помогая Неверову. Еще бы! Обласкал и пригрел круглого сироту, бедного студента, пристроил на службу и сделал возможной блестящую будущность!

Сергей Семенович снисходительно простил Януарию его метания. «Молод, несмышлен, не хлебнул лиха из полного ковша. Образумится».

Короче, не без вмешательства министра Неверова вскоре назначили инспектором гимназии в Ригу, граф Уваров лелеял мысли о преобразовании учебных заведений Остзейского края.

Чтобы яснее представить себе время и обстановку, в которой наш герой осуществлял благородную идею просвещения народа, приведем фрагмент из воспоминаний известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева, названных весьма пространно: «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других».

Из записок С.М. Соловьева

Начиная с Петра до Николая просвещение народа было целью правительства, все государи сознательно и бессознательно высказывали это; век с четвертью толковали только о благодетельных плодах просвещения, указывали на вредные следствия невежества в раскольниковстве, в суевериях. Самодержцы и самодержицы, разумеется, смотрели односторонне на дело, именно смотрели на него с одной материальной стороны: им нужно было просвещение для материальных успехов, для материальной славы; они покровительствовали просвещению, заводили академии и университеты, ласкали ученых и поэтов, давали права образованным молодым людям, преследовали невежество, ибо представителем последнего был для них буйный, строптивый раскольник, смотрящий на их герб как на печать антихристову; представителем же просвещения был профессор, говорящий на актах похвальные слова им, или поэт, подносящий торжественную оду.

Так, некоторые родители очень довольны просвещением и не жалеют денег для образования детей своих, когда эти дети ловко танцуют и возбуждают удивление родных и знакомых, лепечут на иностранных языках и в день именин подносят папаше и мамаше сочинения в стихах и прозе, где величают их виновниками своего блаженства и проч. Но ведь эти малые дети вырастают, и для пожилых родителей начинается горькое разочарование: милые дети начинают считать себя образованнее, умнее родителей, не хотят сообразоваться с их желаниями и обычаями, которые называют дикими, устарелыми, требуют себе

самостоятельности, средств к свободной жизни: тут-то папаша и мамаша начинают горькие жалобы на просвещение, на молодых учителей-развратителей: воспитали, выучили детишек на свою голову, а теперь яйца и начали учить кур!

То же самое случилось и с русскими благочестивейшими и самодержавнейшими папашами и мамашами. Уже мудрая мамаша Екатерина II, которая писала такие прекрасные правила для воспитания граждан, на старости лет заметила вредные следствия своих уроков и сильно гневалась на непокорных детей, заразившихся правилами так любимых прежде ею учителей. Благодушный Александр I всю свою жизнь тосковал и жаловался на непокорность и неблагодарность детей, о благе которых он так заботился и даже хотел их выпустить на волю — под надзором Аракчеева. Но Николай I не имел такого благодушия. Он инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное «не рассуждать!». При самом вступлении его на престол враждебно встретили его на площади люди, и эти люди принадлежали к самым просвещенным и даровитым, они все думали, рассуждали, критиковали, и следствием этого было 14 декабря.

По воцарении Николая просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства; университеты подверглись опале; Россия предана была в жертву преторианцам; военный человек, как палка, не привыкший рассуждать, но исполнять и приучать других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь способности, знания, опытность в делах — на это не обращалось

никакого внимания. Фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарились невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки. Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Вся Россия 30 лет была на смотре у державного фельдфебеля. Все делалось напоказ, для того чтобы державный приехал, взглянул и сказал: «Хорошо! Все в порядке». Отсюда все потянулось напоказ, во внешность, и внутреннее развитие оставалось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах — здесь все было хорошо, все в порядке; а что дальше — туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, выложено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем ваше императорское величество». Больше ничего не спрашивалось.

Терпелись эти заведения скрепя сердце, для формы, напоказ, чтобы-де иностранцы видели, что и у нас есть училища, что и мы — народ образованный.

Впрочем, до последнего времени, до 1848 года, явного гонения на просвещение не было. Тяжелая рука лежала на нем, враждебное начало проводилось в системе государственного управления, все чувствовали, понимали, что государь до просвещения не охотник, но он ограничивался еще только отрицательными действиями. Николай Павлович покровительство изволил оказывать просвещению; но какую цену было куплено это покровительство? Министр Уваров имел способность уверять его, что воспитывается новое поколение монархически мыслящих людей, которые посредством науки доходят до убеждения в необходимости и превосходстве порядка вещей, желаемого его величеством; что великое царствование

его служит новой эпохой в истории человеческого и русского просвещения, в основание которого легли православие, самодержавие и народность. Лесть ловкого, умного лекаря нравилась барину: отчего же к славе великого законодателя, политика, правителя не присоединить и славу покровителя просвещения, просвещения истинного, могущего упрочить спокойствие народа! И вот лакей ловкою лестью выманивал от времени до времени разные льготы и хорошие вещи, как, например, археографическую комиссию. К этому времени принадлежит и попечительство Строганова в Московском округе с сильным развитием серьезного, научного движения. Но свистнул свисток на Западе, и декорация переменялась на Востоке: февральская революция отозвалась самым печальным образом на России. Повелитель перепугался, перепугался самым глупым образом, как только он один мог перепугаться. Николай, начальник Петербургских казарм, вовсе не знавший России, перепугался; перепугалась его глупая жена, перепугались все его унтерфельдфебели от той же самой причины и глупости, невежеству вообще и незнанию России в особенности. Думали, что и у нас сейчас же вспыхнет революция. Рассказывали, что императрица, возвратившись с прогулки по петербургским улицам, с удовольствием говорила: «Кланяются! Кланяются!». Она думала, что петербургские чиновники, вследствие изгнания Людовика-Филиппа, перестанут снимать шляпы перед особами императорской фамилии. Но Петербурга еще не так боялись, боялись особенно Москвы; с часу на час ждали известий о московской революции. Но все было тихо; опомнились, посмеялись над страхом своим и поблагодарили русский народ доверенностью за преданность и усердие? Ничуть не быва-

ло! Тут-то Николай и его креатура показали всю мелочность и гадость своей натуры; они озлобились, начали мстить за свой страх, обрадовались, что в событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза... Время с 48-го по 55-й год было похоже на первые времена Римской империи, когда безумные цезари, опираясь на преторианцев и чернь, давили все лучшее, все духовно развитое в Риме. Начали прямо развращать молодых людей, отвлекать их от серьезных занятий, внушать, чтоб они поменьше думали, побольше развлекались, побольше наслаждались жизнью: такие внушения делал глупый принц Ольденбургский воспитанникам училища правоведения; то же толковалось в университетах. Принялись за литературу; начались цензурные оргии, рассказам о которых не поверят не пережившие это постыдное время; говорю — постыдное, ибо оно показало вполне, какие слабые результаты имела действительность XVIII и первой четверти XIX века, как слабо было просвещение в России; стоило только Николаю сотоварищи немножко потерять лоск с русских людей — и сейчас же оказались татары...

Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать возвращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось.

Лень, стремление получать как можно больше, делая как можно меньше, стремление делать все кое-как, на шерамыгу,— все эти стремления, так свойственные нашему народу вследствие неразвитости его, начали усваиваться, поощряемые развращающим правительством; гимназии упали, университеты упали

вследствие падения гимназий; ибо в них начали поступать вместо студентов все недоученные школьники, отученные в гимназиях от серьезного труда, стремящиеся хватать вершки и заноситься; ищущие на профессорской лекции легкого развлечения, а не умственной пищи, для переваривания которой нужно собственное большое усилие. Таким образом, невежественное правительство, считая просвещение опасным и сжимая его, испортило целое поколение, сделало из него не покорных слуг себе, но вздорную толпу ленивцев, не способных к серьезному, усиленному занятию ничем, совершенно не способных к зидительной деятельности и, следовательно, способных к деятельности отрицательной, как самой легкой. Мальчик, отученный еще в гимназии от серьезного труда, чрез это вовсе не становился на точку зрения правительства; он сохранил и развил в себе все либеральные замашки; он только привык отрицательно относиться ко всему, и прежде всего, разумеется, к правительству.

5

Как видим, не мед с сахаром пришлось изведать Неверову на новом поприще, а если еще учесть, что педагогика было для него terra incognita, то на первых порах легко можно было набить немало шишек. Так оно, собственно, и оказалось.

Проблемы выростали, казалось бы, из ничего. Вошел, скажем, как-то Януарий Михайлович в класс, а все места заняты. Один ученик уступил ему место. Неверов сел и услышал с соседней парты презрительно брошенную фразу: «Блюдолиз, подлипало...». Естественно, он сделал выговор забияке за то, что тот

оскорбил товарища, сделавшего элементарный шаг вежливости, и назначил наказание — встать на колени. К слову сказать, в российской гимназии эта мера была достаточно распространенной. К удивлению Неверова, ученик отказался повиноваться и, презрительно дернув плечами, вышел из класса. Вскоре пожаловал родитель нарушителя с просьбой изменить наказание:

— Немец ни перед кем не преклоняет колени, даже перед Богом, а поэтому не может подчиниться русскому порядку и унижить себя перед инспектором.

Коса нашла на камень. Януарий Михайлович настаивал на своем, а родитель не соглашался. Конфликт разгорался. Дело дошло до жалобы попечителю генералу Крафстрему, который сделал Неверову выговор:

— Избранная вами мера наказания необычна в немецких учебных заведениях, а посему извольте принять выбывшего ученика и запретите ему, к примеру, посещение занятий на несколько недель. И впредь воздержитесь от подобных шагов, иначе, — генерал важно кашлянул в кулак, — иначе вам придется переехать в какую-нибудь внутреннюю губернию России.

Впрочем, природный живой ум, наблюдательность и доброжелательность нашего героя скоро позволили ему обрести утраченное поначалу равновесие, и более того — завоевать авторитет у коллег, учеников и родителей.

6

Легко сказать: «К черту писание статей!». А если жить без этого не можешь и чистый лист тянет к себе, как рюмка горького пропойцу?

Новые впечатления произвели на Януария действие бродильных дрожжей. Господи, сколько мыслей возникло! Сколько новых аргументов для споров со Станкевичем! Явилась потребность осмыслить берлинские впечатления, привести в порядок идеи относительно состояния народного образования и путей его совершенствования.

В 1840 году он опубликовал в «Отечественных записках» обзор германской литературы, на который многие обратили внимание, в том числе и Белинский. В статье Неверов обнаружил глубину эстетических и научных оценок, верность суждений и известное изящество изложения.

Его характеристики точны и лаконичны.

Вот что, например, пишет Неверов о Г. Лаубе, пользовавшемся в Германии большой популярностью: «Генрих Лаубе принадлежит к самым дерзким, поверхностным, пустым, но вместе с тем приятнейшим рассказчикам. Он никогда не занимался серьезно наукой и, будучи чужд ее интересам, посвятил себя исключительно литературной болтливости...». Оценивая новые явления в немецкой словесности, Януарий Михайлович отмечает: «Юная Германия» есть не что иное, как представительница переворота, совершающегося в нашу эпоху, переворота, состоящего в уничтожении литературно-эстетической отдельности и сближении литературы с жизнью, но представительница заносчивая, крикливая, уклоняющаяся от своей цели и с прямой дороги сбивающаяся в кривые закоулки, в которых она часто сама падает в грязь и нечистоту».

Статьи Неверова заметили не только в России. В одной из немецких публикаций Януария Михайловича назвали в числе ведущих русских критиков, поставив на второе место после Белинского.

Какой еще, спрашивается, фимиам нужен для самолюбия?

7

Хорошее щепотью, худое — охапками. Во второй половине 1840 года Грановский переслал Неверову письмо Тургенева.

Берлин, 4 (16) июля 1840 г.

И.С. Тургенев — Т.Н. Грановскому:

«Нас постигло великое несчастье, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждою... 24 июня в Нови скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо!.. — Что остается мне сказать — к чему вам теперь мои слова? Не для вас, более для меня, продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме: я его видел каждый день и начал оценивать его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души... тень близкой смерти уже тогда лежала на нем...

...Боже мой! Как этот удар поразит вас, (Януария Михайловича) Неверова, Фроловых... всех его знакомых и друзей! Я не мог решиться сказать об этом Вердеру: я написал ему письмо.

Как он был глубоко поражен!..

...Я оглядываюсь, ищу — напрасно. Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю? Кто, достойный, примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет идти по его дороге, в его духе, с его силой?..

О, если что-нибудь могло бы заставить меня сомневаться в будущем, я бы теперь, опередив

Станкевича, простился с последней надеждой. Отчего не умереть другому, тысяче другим, мне, например? Когда же придет то время, что более развитый дух будет непременным условием высшего развития тела и сама наша жизнь условие и плод наслаждений — Творца, зачем на земле может гибнуть или страдать прекрасное? До сих пор казалось — мысль была святотатством и наказание неотразимо ожидает все превышающее блаженную посредственность. Или возмущается зависть Бога, как прежде зависть греческих богов? Или нам верить, что все прекрасное, святое, любовь и мысль — холодная ирония Иеговы? Что же тогда наша жизнь?

Но нет — мы не должны унывать и преклоняться.

Сойдемтесь — дадим друг другу руки, станем теснее: один из наших упал — быть может — лучший.

Но возникают, возникнут другие, рука Бога не перестает сеять в души зародыши великих стремлений, и, рано или поздно, — свет победит тьму...»

8

Если вы читали «Дона Карлоса», попытайтесь представить маркиза Позу, пережившего Карлоса.

9

Неверов сохранил письмо Тургенева. Он бережно переплел в несколько тетрадок свою переписку с Николаем, сделал наброски воспоминаний о друге. Вместе с Грановским он принял завет Станкевича: служить просвещению России.

Зимой Януарий Михайлович на несколько недель выехал в Петербург.

Спор о России

1

Князь Владимир Федорович Одоевский был одержим идеей посредством вечерних собраний сблизить великосветское общество с современной литературой или литераторами. Поначалу он искренне огорчился, когда люди света, как сливки на молоке, постепенно концентрировались вокруг хозяйки дома, а сам князь оказывался в кабинете, окруженный талантливыми, однако малородовитыми протеже. Шла постоянная сепарация, попытки помешать которой приводили лишь к недоразумениям. И князь постепенно отступил, предоставил ход событий воле провидения.

Хотя его салон и мог похвастаться посещением многих знаменитостей первой величины — Пушкина, Жуковского, Крылова, Гоголя и Лермонтова, — Владимир Федорович чувствовал, что на древе отечественной словесности есть и другие плодоносные ветви, молодые побеги. Поэтому он не упускал возможности изредка выезжать в литературные салоны, в частности, к Ивану Ивановичу Панаеву.

Когда у дома Диметра останавливалась изящная карета с ливрейным лакеем, все знали, что пожаловал князь Одоевский. На этот раз Владимир Федорович подкатил в девятом часу. Погода стояла прескверная — даже для Петербурга. Может быть, поэтому разговор

не клеился. Владимир Федорович облобызал ручку Авдотьи Яковлевны, любезно раскланялся с Неверовым, спросил о службе, перекинулся парой фраз с Иваном Ивановичем и, выведав, что интересных чтений не предвидится, сославшись на мигрень, отбыл восвояси. А зря!

Вечер вышел презанятный, хотя поначалу казалось, что гости вот-вот последуют примеру Одоевского.

...Подали чай. Вяло посмеялись над сообщением хозяина, что цензор Красовский, известный тугодум и ханжа, подчеркнул в стихотворении Олина строки «Что в мненье мне людей? Один твой нежный взгляд дороже для меня вниманья всей вселенной», написав на полях: «Сильно сказано; к тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить должно».

Иван Иванович, поддерживая беседу, полюбопытствовал у Герцена, как тот относится к катковскому переводу «Ромео и Юлии», но Герцен только рукой махнул:

— На сей счет спросите Виссариона. У него с Боткиным целая переписка о переложениях Шекспира...

Белинскому нездоровилось, он полулежал на диване, внимательно прислушиваясь к обрывчатым разговорам и следя за Александром, мерявшим комнату мягкой походкой хищного зверя.

Иван Иванович внезапно почувствовал, что атмосфера в комнате накаляется. Он беспокойно огляделся. Януарий Михайлович Неверов, протирая синие очки, рассуждал о метаморфозах, которые произошли в последнее время с Кольцовым, переменившим народный костюм на европейское платье и приняв-

шимся за изучение гегелевской философии, что вовсе не способствовало развитию его таланта. Неверову поддакивали, помня его статьи о Кольцове в «Журнале министерства народного просвещения» и «Сыне отечества».

В другом углу так же беззлобно судачили о Кукольнике.

И все же — что-то зрело.

Не зря Белинский, поймав за руку Герцена, шепнул ему несколько слов, выразительно кивнув в сторону Неверова.

2

Герцена явно нервировал этот благопристойный посетитель салона в синих очках. Нервировала его манера говорить и порывистость движений, нервировало поминутное «милый мой», с которым Януарий Михайлович обращался ко всем без разбора. Словом, Александр Иванович испытывал к Неверову какую-то безотчетную антипатию, происхождение которой не мог объяснить себе сам. Ему были непонятны дружба, которой почтил этого ограниченного педанта Станкевич, привязанность к Януарию Михайловичу Грановского и ряда видных литераторов, художников, музыкантов, принадлежащих порой к враждебным лагерям. Неверов как будто не замечал разности общественных позиций, умел равно внимательно выслушать любого собеседника, поддержать разговор, не обидев опрометчивым словом.

Нет, Белинский и Герцен решительно не могли признать его своим; многие мнения Неверова, особенно после поездки в Германию, противоречили их собственным. Тем более что во время последних воя-

жей Януария Михайловича в Петербург у Герцена с ним произошло несколько принципиальных столкновений по поводу исторической роли Москвы и Петербурга.

— Москва перестала быть нужной России с того дня, когда Петр увидел, что спасение одно — России перестать быть русской, — горячился Александр Иванович. — Основание Петербурга — приговор Москве.

— Милый мой, — возражал Януарий Михайлович, долго протирая очки, и не менее долго держал речь о традициях народа, хранительницей которых является Москва, ее будущей миссии.

Стороны расходились в неколебимой уверенности, что разбили друг друга наголову.

3

У Ивана Ивановича на вечере Герцен и Неверов поначалу держались поодаль друг от друга. И, возможно, разошлись бы вполне мирно, если бы не зашла речь о «Философическом письме» Петра Яковлевича Чаадаева.

...Итак, запальная фраза прозвучала: «Чаадаев в «Телескопе» утверждал, что у России нет прошлого, настоящего и будущего, что она ничем не содействовала прогрессу человечества и что народ наш лишен родового наследия...».

Неверов, которому были адресованы эти слова, незамедлительно «клюнул» и разразился пламенной тирадой.

— Да, — возражал он, — Россия поздно, сравнительно с другими государствами, вступила на путь просвещения, однако упрекать ее в этом — безумие!

Разве не Русь остановила татарские полчища? А кто сделал больше за полтора века после Петра? Можно сказать, конечно, что она поздно начала свое поприще, но не будет ли этот упрек походить на тот, который кто-нибудь вздумал бы сделать римлянам за то, что у них не было ни одного стихотворца, тогда как в Греции процветали Софокл и Еврипид, или если б мы ставили кому-нибудь в вину, что он родился в девятнадцатом столетии, а не в семнадцатом. Государство, как тело органическое, не прежде может начать духовную жизнь, как тогда, когда созрела к тому материальная его масса. Это созревание зависит от причин по большей части совершенно внешних. Мы начали жить с Петра — с этой эпохи и отвечаем мы за наши успехи, а ответ не труден — он в пользу России. Восемь веков она готовилась к своему предназначению, и ее час пришел. Я не могу уважать Чаадаева! — заключил он с пафосом, чувствуя, однако, что сгоряча перегнул палку.

Однако, вместо того чтобы остановиться, выпалил по инерции:

— «Философическое письмо» — оскорбление для народа!

Кончики усов Ивана Ивановича поникли. Неверов произнес последние слова громко, словно обращаясь ко всем собравшимся в салоне. На некоторое время в комнате воцарилось неловкое молчание, только звякнула чашка с чаем, которую поставил на столик Герцен. Здесь он один мог похвалиться близостью с Петром Яковлевичем и поэтому слова Януария Михайловича воспринял как вызов.

— Полагаете ли вы, — сухо сказал он, шагнув к Неверову, — что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно?

— Совсем нет,— Януарий Михайлович снял очки и стал их протирать.

— Тогда извольте вам заметить, — чеканил слова Герцен, — что непозволительно оскорблять человека, смело высказавшего свое мнение и тяжело поплатившегося за это.

— Речь шла, однако, о содержании «Философического письма», в котором Чаадаев высказывает мнение, согласиться с которым не может ни один патриот. Есть понятия и святыни, на которые непозволительно замахиваться никому!

— Господа, извольте ко мне в кабинет, — попытался сгладить ссору Иван Иванович Панаев, но его прервал Белинский, незаметно для всех поднявшийся с дивана и вставший рядом с Герценом. Бледный и взволнованный, он производил впечатление пророка, который сейчас изречет боговдохновенное слово. Руки Виссариона дрожали.

— Что за обидчивость такая! — глухо начал он. — Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите ли, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить!

— Повторяю, я вел речь о содержании «Философического письма», — попытался еще раз вставить Неверов, но Белинского уже невозможно было остановить. Чем бледнее становилось его лицо, тем резче оказывались характеристики. В такие мгновения он не слушал возражений, а вещал, развивая высказанную мысль, увлекая слушателей новыми ее повторами и вариациями.

Ивану Ивановичу стало не по себе. Он знал вспыльчивость Неистового Виссариона, полемический талант Герцена и боялся, как бы затеявшаяся

ссора не завела слишком далеко, но все завершилось неожиданно скоро и просто.

— Несмотря на вашу нетерпимость, — не сдавался Януарий Михайлович, — я уверен, что вы согласитесь с одним...

— Нет! — выпалил Белинский. — Что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!

Тут невольно раздался всеобщий смех, разрядивший обстановку.

Воспользовавшись паузой, Иван Иванович велел подавать ужин. Раздосадованный неудачей в споре, выбитый из седла дружным натиском Герцена и Белинского, Януарий Михайлович схватил одежду и бросился вон из квартиры.

4

Холодный ветер со снегом сек лицо. Неверов плотнее запахнул полы. На душе было мерзко, чувство такое, будто второпях хватил стакан уксуса. Навертывались слезы: от обиды, от непонимания, от чего-то еще, чему он не мог найти точного определения.

Пусть, пусть он в чем-то заблуждается! Пусть ум его не настолько гибок и изощрен в диалектике, как у Герцена! Но ведь каждое слово, каждая мысль его выстраданы, сотни раз обдуманы и взвешены, а в итоге оказывается, что они, собственно, никому не нужны. Разве мечта его не одна с Герценом и Белинским — о процветающей России? Да, он не представляет ясно будущего устройства государства, но четко видит свою роль в процессе перерождения — просвещение народа. Вот что главное на сей момент!

Неверова бесили мудрствующие баре, глубоко-мысленно рассуждающие о гибельности крепостно-

го права, однако тем не менее не забывающие исправно получать доходы от имений, пить ведрами шампанское, заработанное, между прочим, мужиком. Ради мужика он, Януарий, оставил карьеру литератора и журналиста, покинул столицу и друзей, заняв скромное место инспектора гимназии. Почему же всем наплевать на его жертву, если хотите? Почему даже близкие друзья сделали вид, что ничего, собственно, не произошло, что все так и должно быть? Может быть, он окончательно ославился на попрание журналистики? Так нет же! В некоторых немецких журналах его, Неверова, называют в числе лучших российских критиков, ставят даже вслед за Белинским. Тот же Белинский, наконец, не раз обращался к его статьям, ссылаясь на них, заимствовал цитаты...

Разные мысли бродили в сознании Януария Михайловича, и ответа на них он дать не мог.

5

Эпизод столкновения Неверова с Герценом и Белинским описан в четвертой части «Былого и дум», в двадцать пятой главе. Герцен прямо не называет своего оппонента, однако достоверно установлено, что речь идет именно о нашем герое. Совпадают время его посещения Петербурга и внешние приметы — педантичность, синие очки, пристрастие к философствованиям.

Герцен ошибся лишь в том, что назвал Неверова магистром наук, хотя он был только кандидатом.

«Синий магистр» — беспощадная формула, вызывающая ассоциацию с «синим чулком», не единственное, впрочем, заблуждение Александра Ивановича

относительно своего «однокашника» по Московскому университету.

Если вчитаться внимательно в описываемый Герценом эпизод, то невольно возникает мысль, что спора, собственно, и не было. Слишком о разном говорили Герцен, Белинский и Неверов. Неверов пытался полемизировать с содержанием «Философического письма». Именно с этой позиции он и оценивает Чаадаева. Герцена же шокирует как раз последнее высказывание Януария Михайловича. Подобная реакция понятна, ибо официальная Россия встретила «Письмо», что называется, в штыки. В подобной атмосфере всякие нападки на Павла Яковлевича воспринимались революционно настроенной частью общества как попытка оправдать самодержавие. Однако нелепо приписывать Неверову охранительную, промонархистскую позицию.

Стороны в этом на первый взгляд бескомпромиссном споре разделены не пропастью. Герцен хотя и не относил Неверова к своему лагерю, однако и к реакционерам его не причислял. Вероятно, именно по этой причине он счел нужным не называть фамилии «синего магистра» в «Былом и думах». Не нашел упомянутый эпизод отражения и в переписке Белинского, который в письме к Боткину в январе 1841 года характеризует Неверова как «добрую душу».

6

Сам Януарий Михайлович также не вспоминает впоследствии о случае в салоне Панаева. Любопытно, однако, поразмышлять о возможных причинах этой «забывчивости». Фигура умолчания, думается, продиктована не просто обидой. За ней стоит нечто большее. Но что?

Непонятно.

Отношения Неверова с Герценом и Белинским были гораздо теснее, чем может показаться из «Былого и дум». Свидетельство тому — эпистолярное наследие Александра Ивановича и Виссариона Григорьевича.

Это предмет особого исследования, для которого — увы! — сохранился чрезвычайно скудный материал. Некоторыми размышлениями мы поделимся впоследствии, а пока вернемся к «Философическому письму» Чаадаева с несколько неожиданной стороны.

15 февраля 1840 года в Риге Януарий Михайлович Неверов завершил статью «Взгляд на историю русской литературы», опубликованную вскоре в третьем номере «Отечественных записок». Публикация интересна, во-первых, как свод исторических и литературных воззрений Неверова, а во-вторых, тем, что является полемическим ответом на «Философическое письмо» в открытой печати. Хотя по понятным причинам в статье не упоминается имя Чаадаева, редакция предвосхищает на всякий случай текст комментарием, где пытается обосновать появление статьи на страницах «Отечественных записок» и выражает несогласие с автором по ряду позиций, пообещав, впрочем, «об остальном»... поговорить подробнее.

Эти оговорки вполне понятны, ибо всем хорошо было известно предписание министра народного просвещения С.С. Уварова от 20 октября 1836 года, где говорилось: «В 15-м номере журнала «Телескоп» помещена статья «Философическое письмо». Я покорнейше прошу... предложить цензорам С.-Петербургского цензурного комитета не позволять в других периодических изданиях ничего, относящегося к этой статье, ни в опровержение, ни в похвалу ее».

Хорошо известно, что Чаадаева «высшим повелением» нарядили в колпак безумца, а в отношении «Философического письма» правительство попыталось сделать вид, что ничего, собственно, и не было.

Однако «Письмо» стало достоянием общественности.

Вспомним статью Пушкина «О ничтожестве литературы русской», написанную, судя по всему, под непосредственным влиянием идеологического диалога с Чаадаевым. Как известно, Пушкин был знаком с содержанием «Философического письма» задолго до публикации его в «Телескопе». Чаадаев заставляет вспомнить само начало пушкинских размышлений: «Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-католического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...».

Пушкин, как видим, в целом принимает чаадаевское понимание истории, однако многие, а точнее сказать — основные вопросы решает по-своему.

Вернемся к статье Неверова «Взгляд на историю русской литературы». Трудно избавиться от ощущения, что когда он писал свой «Взгляд», перед ним

лежало «Философическое письмо». Сходство в композиции, постановке проблем, исторических реалиях. Неверов фактически пытается дать ответ на вопросы, поставленные Чаадаевым.

7

«У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных.

Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества... Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно».

Такую оценку начальному периоду русской империи дает Чаадаев. Неверов также признает обособленность России от Запада, привнося, однако, в этот тезис элементы «варяжества».

Для истории Запада решающее значение имел синтез древнейших культур с неодухотворенной стихией молодых народностей. Отсутствие подобного «оплодотворяющего» синтеза плюс фактор географический и сыграли роковую роль в становлении русской народности!

«...Для образования каждого народа, — пишет Неверов, — необходима, говоря на техническом языке науки, — противоположность (Gegensatz), т.е. чтоб начинающий свое поприще народ имел у себя пред глазами другую, зрелую, народность или чтоб даже сам состоял из различных, противоположных элементов, как то мы видим на Западе, где новые государства возникли из смешения германцев с римлянами, или лучше вальхами; только эту противоположностью подстрекается умственная деятельность, развиваются нравственные силы. Рассматривая историю нашего отечества, мы увидим, что оно лишено было этих выгод. Правда, в состав его также вошли два главных элемента — славянский и русский, или норманнский; но оба они были в одинаковом младенческом состоянии, следовательно, умственной противоположности между ними не существовало, и славянам нечему было научиться у руссов, а руссам у славян. Не так было на Западе: народы германские, полные нравственной силы, мужества и одушевления, слились с племенами, под владычеством Рима переродившимися в римлян (вальхи), обладавшими полною, развившеюся цивилизацией, имевшими литературу, искусства, все условия жизни образованной, но утратившими те нравствен-

ные свойства, которыми богаты были германцы. Таким образом, два элемента пополняли один другой, образность древняя погибла в вихре войн и народных поселений, но прах ее послужил семенем, которое, упав на плодотворную почву германского духа, принесло прекрасный, роскошный плод. Кроме этого важного преимущества западных государств над Россией в самом происхождении, они имели его также и в местности. Известно, какое неуловимое, но притом обширное влияние имеет земля и климат на развитие и жизнь народов; кто ж будет сомневаться в том, что Западная Европа в тысячу раз более представляет средств к развитию, нежели Восточная?..* Отделенная от Европы духовно — языком и верою, заслоненная от нее враждебную Польшею, она должна была ограничить внешнюю деятельность свою войнами с половцами, тогда как внутреннее ее спокойствие раздираемо было дикими междоусобицами, в которых люди гибли не за идею, как на Западе в борьбе папства с светскою властью, даже не за веру, не за отечество и независимость, а из ничтожных княжеских споров. Наконец, она сделалась добычею восточных варваров, и целые два века стонала под игом тягостного рабства, в котором приобрела многие восточные черты, отразившиеся в языке ее, нравах, жизни, обычаях и постановлениях».

Таким образом, если Пушкин не признает мысли Чаадаева о «нашей исторической ничтожности», то Неверов в целом ее разделяет, хотя и не без известных оговорок.

Одним из краеугольных положений «Философического письма» явилось представление о роковом

* Позднее эти тезисы нашли плодотворное развитие в трудах Л.Н. Гумилева.

влиянии Византии на судьбы России. Чаадаев пишет следующее: «Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания... Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже были предугаданы отдельными умами; характер общества уже определился, а, приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев, эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы, — все это нас совершенно миновало. В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, — мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места».

Неверов менее категоричен в своих оценках: «Греция, передавшая нам святую веру, действовала на нас только издалека; притом она была так стара, так бессильна, что не могла быть образовательницею народа юного и сильного, отделенного от нее морем и враждебными племенами; со всем тем сближение с

нею заронило у нас первые семена просвещения, для развития которых потребна была или сильная внешняя деятельность, или тишина и спокойствие. К несчастью, Россия не пользовалась ни которым из этих преимуществ».

Позиция Неверова в данном случае ближе к позиции Пушкина, возражавшего в письме Чаадаеву: «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно?»

У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».

Подобных различий немало, но особенно уместны они в оценке деятельности Петра.

«Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек, — писал А.С. Пушкин в упомянутой статье «О ничтожестве литературы русской». — Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы».

Неверов во «Взгляде на историю русской литературы» разделяет мысль о «европеизации» России как ключевом, переломном периоде отечественной истории: «Едва только не стало Иоанна, едва Россия вышла

из страха и оцепенения, нагнанного на нее опричника-ми, как снова с необыкновенною силою возобновился важный, спорный вопрос, кому жить: России или Польше? где должна развиваться жизнь славянская, на берегах Москвы или Вислы? Вопрос, который требовал всех сил народа, потому что дело шло о его существовании, и только тогда, когда, после тяжких усилий и пожертвований, удалось России обеспечить свое бытие, она могла бы начать духовное развитие; но элементы его, заглушенные восточным рабством и протекшею от него восточною неподвижностью, не могли иначе показаться наружу и начать свое развитие, как при столкновении с какою-нибудь другою и сильною образованностью, именно при сообщении с Западом. Пути к нему были закрыты Польшею, Ливониею и Швециею, равно желавшими, чтоб мы навсегда оставались в политическом и духовном детстве: потребна была сильная рука, которая сорвала бы с России ее азиатскую оболочку, вызвала бы к жизни дремавший дух ее и поддержала его деятельность сношениями с Западом. Все это сделала мощная десница Петра, прорубившая мечом разделявшую нас от Запада враждебную стену, и первые лучи благодетельного света, проникшего к нам через прорубленную Петром брешь, зажгли свет просвещения и оживили элементы умственной нашей жизни. Воспитанная Петром, она пустила глубокие корни, обещающие дивный, прекрасный плод! Таким образом, наша духовная и умственная жизнь существует только с Петра: до него Россия была под спудом не свойственного и чуждого ей азиатизма; с Петра поэтому начинается и литература наша, потому что при нем начались первые попытки — посадить семя образованности на почву народную, посредством обучения народа и принятия языка его для письменно-

сти, до того времени существовавшей на языке полужуждом ему, именно на церковнославянском».

Чаадаев, к слову сказать, более скептичен в оценке Петра: «Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда великий человек захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз, другой великий государь, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия через просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу».

Можно найти немало точек соприкосновения и отталкивания в трех упоминаемых статьях, однако гораздо важнее, на наш взгляд, остановиться подробнее на изложенном в них прогнозе о будущем России. Именно этот вопрос для авторов является главным.

Пушкин смотрит на настоящее и будущее оптимистично: «...Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?». Подобную точку зрения разделял и Неверов: «Эта жизнь, от столкновения с европейскою, зажглась наконец светлым, неугасаемым светильником, живительный огонь коего, с минуты возжения, распространяется с такою быстротою, какой никогда не представляла история».

Чаадаев в отличие от них не видит впереди никакого просвета. Он — пессимист, история находится, по его мнению, во власти «неисповедимого рока». Однако в своей утопии философ все же оставляет место для человека, который может в какой-то, пусть малейшей степени стать творцом частной истории. Путь к осуществлению личности Чаадаев находит в католицизме. На этой идейной основе и строит он духовный храм всечеловеческого единства. Движущей силой истории Чаадаев считает религиозно-нравственную идею. Пушкин более материалистичен, вспомним его: «Народ безмолвствует».

Что же Неверов? Какова его позиция в этом историческом споре о будущем России? Несомненно, он верит в будущность страны, и первый шаг к будущему, по мнению Януария Михайловича, — просвещение народа: «Что ж касается до направления этого просвещения, то оно, сообразно господствующему во всей Европе стремлению, приняло вид утилитарный, обратилось на умножение материального благосостояния, явилось в новой форме реальных училищ, журналов, энциклопедий, популярных курсов. Не будем жаловаться на этот реализм, нет, порадуемся ему и встретим как укрепителя нашей образованности: массы народа никогда не могут быть увлечены наукою просто для науки, и путем к ней для них необходимо должна быть польза вещественная.

Согласившись с этой истиной, мы легко убедимся, что господствующее теперь утилитарное направление кладет прочное основание полному, общему и повсеместному умственному развитию народа русского, вызывает к деятельности все его умственные и нравственные силы».

Принято считать, что кружок Станкевича в отличие от кружка Герцена характеризовался прежде всего теоретической, умозрительной направленностью. Герцен в «Былом и думах» замечает, что «в тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших.

В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова — и исчез.

В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанием. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время круга Станкевича. Его самого я уже не застал — он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.

Возвратившись, мы помирились. Бой был неровен с обеих сторон; почва, оружие и язык — все было разное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет.

Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал — и сделал самым блестящим

образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно, — стоит назвать Белинского и Грановского; в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и проч. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринаризм, — живые люди из русских к нему не способны.

Возле круга Станкевича, сверх нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ним в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии называли славянофилами. Славяне, приближаясь с противоположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.

Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским. Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии.

Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам.

В 1842 году сортировка по сродству давно была сделана, и наш стан стал в боевой порядок лицом к лицу со славянами».

Спор между Герценом и Белинским, с одной стороны, и Неверовым, с другой, происходил зимой 1840—1841 года, когда, по выражению Герцена, шла «сортировка по сродству».

В какой же лагерь отнесли Януария Михайловича? Своим его, как видим, не считали. Вероятно, Герцен полагал, что Неверов сближается со славянофилами

(не случайно в описании спора он приводит слова Януария Михайловича о целостности народа, единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться). Не потому ли, зная близость Неверова со Станкевичем, Герцен оставляет возможность примирения последнего со славянофилами?

Между тем Станкевич, скорее всего, примкнул бы к Герцену. Вспомним, что он взял с Грановского и Неверова клятву посвятить свою жизнь делу народного просвещения, как первому шагу по пути совершенствования государственного устройства России, освобождения народа от крепостного ига. Это был практический шаг от философских теорий к реальной жизни. В этой позиции скорее можно усмотреть зародыши народнических идей, чем идей панславизма.

Крутой поворот в жизни Януария Михайловича Неверова — его отказ от литературной, общественной и административной деятельности и обращение к конкретной педагогике, к просвещению населения национальных окраин — следует рассматривать как развитие и воплощение идей Станкевича.

По новому пути (Окончание)

10

Грановский, к которому Неверов приехал из Петербурга, действительно немного прихворнул, однако настроение у него было неплохое. Как мог, он успокоил Януария, рассказавшего о споре в салоне Панаева, о наскоках Герцена и Белинского.

Как не хватало Неверову в эти минуты Станкевича, его рассудительности и умения все объяснить, примирить разность взглядов. При нем просто невозможно, стыдно было думать о личных счетах, симпатиях и антипатиях.

Если бы Станкевич был у Панаева!

Но его уже никогда не будет, и, разошедшиеся по дорогам жизни, они, его друзья, обязаны нести зажженный им огонь дальше.

11

Эмилия Голлендер была девушкой со средними способностями, некоторой образованностью, но вдобавок к тому — со склонностью к эстетизму, изящной литературе. Она умела вовремя поправить упрямый локон, многозначительно и понимающе молчать. Чего же боле?

Януарий, у которого после смерти Станкевича в душе образовался некий вакуум, стремился поскорее его заполнить, ибо эта пустота тяготила, отнимала радость жизни, смысл существования.

С горячей торопливостью он объяснился с Эмилией. И его признание было благосклонно принято.

Ах, какими крошечными готическими буквами сообщала она ему в письмах нехитрые подробности своей жизни, приправленные пряностями сентиментализма.

Неверов ничего не замечал.

Дело уверенно катилось к свадьбе. И, вероятно, наш герой умер бы, как и положено в Остзейском крае, в чистеньком немецком домике под рыдания вдовы, был бы похоронен на старинном кладбище и на его могиле был бы установлен добротный памятник с приличествующей надписью... Если бы не пастор Таубе...

12

В рукописном отделе Государственного исторического музея мне выдали хорошо сохранившиеся письма Эмилиии к Январю. Кружевные слова цепляются друг за дружку, выстраиваются в ровные строчки. От «орнамента» рябит в глазах, с трудом разбираю отдельные слова, предложения. Все время не покидает какое-то чувство неловкости. Стоило ли вообще оставлять эту интимную переписку? Пусть тайна останется тайной. Я верю, что Эмилия пронесла через всю жизнь чувство привязанности к романтически настроенному поклоннику, который не стал ее супругом.

Я хочу в это верить и поэтому складываю назад в архивную папку пожелтевшие листочки.

13

И.В. Гете. Страдания юного Вертера

Напрасно простираю я к ней объятия, очнувшись утром от тяжких снов, напрасно ищу ее ночью в своей постели, когда в счастливом и невинном сновидении

мне пригрезится, будто я сижу возле нее на лугу и осыпаю поцелуями ее руку. Когда же я тянусь к ней, еще одурманенный дремотой, и вдруг просыпаюсь, — поток слез исторгается из моего стесненного сердца, и я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее.

14

Нет, она, вероятно, выплакала свои огорчения в мягкое плечо матери и постаралась больше не встречать его в публичных местах и на улице.

Власть традиций, религиозные предрассудки оказались сильнее. Эмилия была лютеранкой, и местное духовенство во главе с пастором Таубе, эдаким железным ревнителем чистоты веры, воспротивилось их браку.

Воображение легко нарисует вам, читатель, сцену бурного объяснения нашего героя с виновником своего несчастья... Вследствие нервного потрясения Януарий ослеп.

По рекомендации врачей он провел зиму в темной комнате, а весной выехал на лечение за границу. Знаменитые немецкие окулисты Грефе и Роза сделали чудо, вернув зрение его единственному глазу.

Мир вновь приобрел объем и краски, но был он теперь менее красочен, чем прежде.

Вернувшись в Ригу, Януарий не мог смириться с мыслью, что Она где-то рядом ходит по улицам, пишет своим бисерным почерком кому-то записки.

Почему она не прислала ему пистолеты, как Лотта?

15

По просьбе Неверова его перевели директором училищ Черниговской губернии. Здоровье Януария Михайловича пошатнулось настолько, что он с боль-

шим трудом мог писать и читать, пришлось ограничить занятия литературой и подготовку статей в столичные журналы. Все большее место в жизни Януария Михайловича занимала педагогика.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий возраст.
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего.

16

В Чернигове Неверов подружился с семейством губернатора Павла Ивановича Гессе, часто сиживал у него за чаем и беседами по вечерам.

Рижские «уроки» пригодились Януарию Михайловичу. Теперь он основное время посвящал изучению педагогики, приводил в систему свои взгляды. К этому времени у него накопился кое-какой опыт.

Его доброта и здесь снискала всеобщее уважение. Как-то Януарий Михайлович приехал в одну из гимназий с проверкой и застал там весьма прискорбное зрелище. Все лестницы были заняты коленопреклоненными учениками. Неверов отменил наказание и запретил его использовать впредь. Подобным образом он ограничил употребление розог без особого разрешения педагогического совета. Царствовавшей в училищах зубрежке Януарий Михайлович постарался противопоставить осмысленное обучение, основанное на привитии детям интереса к изучаемым предметам.

Он даже составил специальные инструкции для учителей по всем предметам. За исключением, впрочем, математики, неприязнь к которой сохранял всю жизнь.

Однажды губернатор пригласил его на званый вечер. Празднично одетое радостное семейство так горячо встретило Януария Михайловича, что тот засмушался.

— А ведь этот вечер мы решили посвятить вам, — улыбался Павел Иванович, — ведь в вашей жизни произошло весьма важное событие.

Януарий Михайлович недоумевал.

Дочки Гессе восторженно хлопали в ладоши.

— Не томите, Павел Иванович, — взмолился наконец Неверов. — К ордену меня собираетесь представить, что ли?

— Берите повыше, — пробасил Павел Иванович и, поднявшись из-за стола, поздравил Януария Михайловича... с освобождением от полицейского надзора. Оказывается, сунгуровская история имела для него более чем десятилетнее продолжение.

Неверов вспомнил маленького человечка, оглядывавшегося на портрет Николая I, вспомнил Наталью Семеновну с узелком, вспомнил Костенецкого, и, как ни странно, ему стало грустно, словно окончательно отрезали лучший кусок его жизни.

17

Несмотря на старания черниговских врачей, здоровье Неверова не улучшалось, а так как вследствие отстранения Уварова от дел Януарий Михайлович был лишен возможности выезжать на лечение за границу, встал вопрос о переезде в местность с водами, близкими по составу тем, которыми пользовали его Грефе и Роза.

Специалисты рекомендовали Кавказ, где в Пятигорье действовало немало различных источников минеральных вод.

Париж Кавказа

1

Скучно ехать степью.

Летом невыносимая жара. Однообразие. Плоская, как стол, равнина с мелкими, пересохшими речками и выгоревшей травой. Глазу не за что зацепиться, чтобы дать разбег воображению.

Поселения с низкими саманными хатенками под чаканом редки и похожи друг на друга, как близнецы.

Не менее тосклива степь осенью, когда зарядят дожди. Жирная, не знавшая плуга и таящая в себе нерастраченное плодородие земля липнет к колесам не хуже замазки. Даль затаянута мелкой моросью. И поневоле кажется, что все ближе придвигаются к тракту жалкие кладбища с покосившимися деревянными крестами.

Не позавидуешь путнику, попавшему сюда зимой. Снега часто совсем нет. Холодным сквознякам вольготно катать из одного необозримого края в другой легкие комочки перекасти-поля.

Иное дело весной да в самом начале лета. Тогда степь сверкает всеми невысказанными красками, дурманит, навеивает мечтания о земном рае. Но недолго длится пора цветения.

Ужели это и есть Кавказ — сказочная страна, воспетая Пушкиным, Лермонтовым, Марлинским?! Нет, это лишь его преддверие.

В конце октября 1850 года Януарий Михайлович Неверов был назначен директором Ставропольской гимназии.

По дороге он расспрашивал поселенцев о быте, погоде, достопримечательностях. В ответ, нажимая на малороссийское гя, жаловались любопытному барину на нездоровый климат и постоянные недороды.

В сотне верст от Ставрополя Неверову показали крест, вырубленный из известняка, и рассказали легенду в духе боянова слова, об Игоровом походе. На изъеденном стихиями ноздреватом камне еще виднелись следы славянской надписи. Он попытался прочитать ее, но смог разобрать только две буквы под титлом, машинально произнес вслух: «Господи!»

— Что прикажете? — услужливо отозвался ямщик.

— Трогай.

Чувствовал себя Януарий Михайлович скверно. Видно, сказывались пережитые волнения и хлопоты, связанные с переездом. Время от времени он доставал письма Эмилии, любовался виноградной вязью ее почерка и горько вздыхал.

Степь неприметно менялась. Появились холмы, невысокие горы. Лошади на подъем бежали медленнее.

Наконец ямщик поворотил на проселок к монастырю и указал кнутовищем на разбросанные по гребню горы строения:

— Ставрополь, барин...

По меркам европейским это был, конечно, весьма заштатный городишко с четырнадцатью тысячами жителей.

Однако не спешите с выводами, читатель.

Представьте себе степное безлюдье, раскинувшееся на многие сотни верст. Представьте человека, бывавшего в столицах, знакомого с благами цивилизации, образованного. А теперь представьте, что он принужден год от года безвыездно жить в каком-нибудь отдаленном ногайском селении, где никаких развлечений и даже душу открыть некому.

Управляющий Ставропольской казенной палатой так характеризовал город: «Сделавшись в 1822 г. областным, а с 1847 г. губернским, г. Ставрополь до самого окончания Кавказской войны представлял собой важнейший военно-административный центр, в нем сосредоточены были штаб командующего войсками правого крыла Кавказской линии, генеральный штаб войск, Управление 1-й и 2-й бригад, а также Управление Кавказского линейного казачьего войска: канцелярия атамана, Войсковое дежурство, Войсковое правление, Управление 9-ти бригад. Кроме того, Ставропольское провиантское комиссионерство, комиссариатская комиссия, военный госпиталь... Из Ставрополя исходили в то время все приказания военного начальства относительно направления разного рода экспедиций в земли непокорных горцев; отсюда же давались распоряжения гражданского начальства о постепенном заселении в пусте лежавших громадных пространств Ставропольской губернии выходцами из внутренних губерний России. Здесь же производились на весьма значительные суммы заготовления по обмундированию и довольствию войск, совершались подряды; заключались контракты, причем происходила оживленная торговля предметами не только первой необходимости, но и предметами роскоши, приобретать которые нисколько не стеснялись офицеры, постоянно и поочередно являвшиеся сюда по оконча-

нии походов, т.к. получали содержание по военному положению».

Кавказ издавна являлся объектом жизненных интересов России, ибо от выхода страны к Черному морю в немалой степени зависело дальнейшее развитие торговли и хозяйства. С XVI–XVII веков кавказский вопрос был основным в восточной политике империи. Впрочем, не одни только экономические интересы диктовали борьбу России за этот регион. Обладание им обеспечивало безопасность государства перед лицом турецкой и иранской агрессии.

К кавказскому «пирогу» протянули щупальца Франция, а затем и Англия. В Лондоне вынашивали планы превратить Кавказ в колонию, разжигали антирусские настроения коренных народов, поддерживали материально и политически вооруженные выступления горцев. Именно усилиями Англии кавказский вопрос оставался главной международной проблемой вплоть до 60-х годов XIX века, несмотря на то что юридически присоединение Кавказа к России было завершено в 1829 году Адрианопольским договором.

Летом 1834 года в районе Сухум-кале бросил якорь английский военный корабль «Туркуаз», на борту которого находился некий Дэвид Уркуорт, заявивший горцам, что он прислан королем Англии и уполномочен узнать о необходимой помощи в борьбе Черкесии с русскими. Уркуорт и капитан «Туркуаза» Лайонс развернули шпионскую деятельность, они собирали данные о численности гарнизонов в Геленджике и Анапе, характере фортификационных сооружений, о Кавказском корпусе, русских коммуникациях. Действия Уркуорта были благословлены самим Палмерстоном.

Хотя Николай I и запретил иностранцам осмотр кавказских берегов и всякие контакты с черкесами,

это не помешало дальнейшей активизации подстрекательской деятельности англичан и французов на Кавказе.

В 1835 году Уркуорт получил пост секретаря британского посольства в Константинополе, превратив миссию в идейный штаб русофобов. Одержимый идеей отодвинуть Россию на второй план, Уркуорт неутомимо плел сеть интриг. В числе его помощников были европейски образованный карачаевец Андрей Хай, выходец из шапсугского племени Сефер-бей, майор Сэрл, в задачи которого входило создание черкесской кавалерии и обучение ее европейским методам ведения войны. Сам секретарь британской королевы Хадсон совместно с Сэрлом трудился над составлением топографической карты Черкесии. Шпионажем занимались многие высокопоставленные дипломаты, в том числе посол Великобритании в Петербурге лорд Дурхэм.

Одна за другой следовали попытки прощупать пульс России на Черном море.

Осенью 1836 года британским посольством в Константинополе была предпринята провокационная экспедиция к горцам торговой шхуны «Виксен», на борту которой под видом соли пытались провезти большое количество пороха и вооружения. Напрасно владелец «Виксена» Джордж Беллю совал в руки русских военных моряков с брига «Аякс» опубликованную в английском периодическом органе «Portfolio» декларацию Черкесии о независимости и карту, на которой она значилась суверенным государством. Шхуну конфисковали и передали в состав Черноморского флота. Разгорелся международный инцидент. Англичане утверждали незаконность действий России, игнорируя ряд важнейших политических документов,

определяющих статус Черкесии в составе Российской империи.

Политическая дуэль вокруг «Виксена» закончилась блестящей победой русской дипломатии. Уркуорт был вынужден подать в отставку, что, впрочем, не изменило экспансионистских appetitов Лондона.

Число подстрекательских вылазок и количество английских эмиссаров росло год от года.

Причем большинство агентов склонялось к мнению, что поражение горцев повлечет падение Ирана и Турции и поставит под угрозу британское владычество в Индии.

Непростая международная борьба вокруг Кавказа осложнялась для России выступлениями горцев против колониального режима, и в особенности развернувшимся в 1832–1859 годах в Дагестане и Чечне движением мюридизма во главе с Шамилем.

На Кавказе столкнулись интересы ведущих держав, поэтому Крымская война 1853–1856 годов с полным основанием считается генеральной репетицией империалистического раздела мира, мировой войной эпохи классического капитализма.

Ко времени переезда Неверова в Ставрополь восточный кризис зрел и был готов взорваться. Естественно, что политика России на Кавказе в это время строилась на максимальном привлечении горцев на свою сторону, развитии торговли с ними, укреплении культурных и просветительных связей.

3

Василий Дмитриевич Терзиев, инспектор училищ Ставропольской губернии, был душой общества. Общительный и острый на язык, он легко схо-

дился с людьми. Ему прощали многое, даже то, что он, говорят, запускал иногда руку в казенную суму. Впрочем, кто тогда мог удержаться от соблазна легкой наживы, видя, как откупщики буквально пухнут от денег?! Прodelки ставропольских казнокрадов были так откровенно наглы и беззастенчивы, что обратили на себя внимание герценовского «Колокола».

«Хапали все, кто мог и сколько мог. Скажем, государь пожаловал графу Евдокимову 7000 десятин в Ставропольской губернии. Учитывая, что неудобья в счет не идут, граф велел окрасить на плане 4000 десятин лесу у станицы Ессентукской как неудобную землю и присоединить их к жалованной площади. «Надел был утвержден, и теперь граф главный лесовладелец во всем округе Кавказских минеральных вод», — писал «Колокол».

На этом фоне мелкие жульничества Терзиева выглядели поистине детскими проделками.

Впрочем, необходимо заметить, что он смотрел на деньги прежде всего как на средство жить весело и в свое удовольствие. Он не был жаден, мог при случае поделиться последним.

С первых минут знакомства, видя физическое состояние Януария Михайловича, Терзиев добровольно принял на себя роль покровителя. Так как жильё Терзиева, как и Неверова, располагалось непосредственно в здании гимназии, он распорядился перетаскать в комнаты Януария Михайловича некоторую мебель, домашнюю утварь, помогая решать хозяйственные дела. Помощь Терзиева пришлась тем более кстати, что сразу же по приезде в Ставрополь Неверов получил предписание от попечителя Семенова явиться в Тифлис.

Семенов отечески наставлял Януария Михайловича:

— Особое внимание обратите на образование пансионеров из числа горцев. Они должны стать опорой России в этом крае, насаждать среди коренных национальностей идеи просвещения.

Попечитель весьма благосклонно отнесся к планам Неверова, но советовал хорошенько осмотреться.

— Подлечитесь, дружок, хорошенько, побывайте в учебных заведениях, с людьми потолкуйте. А там — с Богом...

Семенов не случайно подчеркнул необходимость «подлечиться». Януарий Михайлович выглядел плохо — «краше в гроб кладут», а тут еще многодневная дорожная тряска, перемена обстановки.

По пути назад он осмотрел Владикавказское, Моздокское и Георгиевское училища, немного обжился на новом месте и в мае 1851 года отправился на воды. «Которые к тому времени начинают приобретать благоустроенный вид, и нет сомнения, что со временем они будут привлекать большое число посетителей», — докладывал в конце 1848 года в рапорте Николаю I кавказский наместник, генерал-адъютант князь Михаил Семенович Воронцов. Проведенная годом ранее реорганизация управления Водами, утверждение положения о дирекции, медицинском комитете и штате позволили значительно улучшить положение дел на курорте. Не зря Воронцов два года кряду ездил сюда, присматривался и принимался к обстановке, имел длительные беседы со старожилками, поощрял различные проекты архитектора Уптона, сына известного императору севастопольского инженера, деловую хватку пятигорского первой гильдии купца Алексея Найтаки, прибравшего к рукам казенные гостиницы, рестораны и омнибусы.

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бештау синее, как «последняя туча рассеянной бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синее — чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?..».

Да! Великим художником был все-таки его однокашник!

Януарий Михайлович попытался найти дом, в котором жил Лермонтов, но скоро запутался. Поднялся немного в гору, вздохнул полной грудью и ощутил желание — жить. Он снял очки и поднял взор вверх.

Машук, точно, походил на мохнатую персидскую шапку.

Врач военного госпиталя, к которому обратился Неверов, тщательно обследовал состояние его глаза, расспросил о том, какими водами пользовали его

Грефе и Роза, и предписал щелочные источники в Эссентуках, предупредив, впрочем, что Эссентукская № 17 очень сильна и при болезненном состоянии нервов Януарию Михайловичу не стоит пить в день больше трех стаканов.

Поистине чудеса способны творить эти воды! Почувствовав довольно скоро заметное облегчение, Неверов пренебрег советом консультанта и по наивности перешел на мариенбаденскую дозу— шесть стаканов, за что был немедленно наказан.

Вначале он полагал, что простудился, но это была самая настоящая нервная горячка. Зрение почти совсем покинуло его глаз, часто случались обмороки.

В бесчувственном состоянии Неверова привезли в Пятигорск, где его с трудом отходили.

Больному порекомендовали принять несколько подогретых ванн в Кисловодске. То ли нарушения врачебных рекомендаций, то ли какие-то их недостатки, то ли общее ослабление физических сил привели к тому, что Януарию Михайловичу день ото дня становилось хуже. Когда в сентябре его привезли в Ставрополь, Терзиев просто остолбенел, увидев восковое лицо Януария Михайловича, исхудалые руки, не могущие удержать табакерки. Думали уже — не жилец. Едва разжимали сведенные судорогой зубы, чтобы влить в горло несколько глотков шампанского с лекарством.

...Возница пел:

Из-под дуба, из-под вяза.

Вода потекла.

Вода, вода потекла,

Вода холодная.

Все тело жгло огнем, трясло.

— Стой, — кричал Януарий Михайлович, порывался слезть с повозки, посидеть в тени вяза, испить холодной водицы.

Потом пришло облегчение, хотя ноги не слушались: лежали, как деревянные чурбаки.

— Это ничего, — улыбался сахарными зубами Терзиев, — главное, Януарий Михайлович, позади! Вы еще на Крепостную гору бегом будете взбираться!

Ан, нет! Здоровье возвращалось быстро, а ноги по-прежнему не действовали. Чего только не перепробовали доктора. И примочки-притирки разные, и грязевые ванны. Даже в мешки с живыми муравьями завязывали ноги Януария Михайловича.

Может, и в самом деле мурашам спасибо сказать стоит?

Хотя возили его повсюду в специальном кресле, предупредительно раздобытом Василием Дмитриевичем, понемногу стал Неверов и сам передвигаться. Сначала — постоит минутку, потом — шагок сделает, а как-то почти всю комнату преодолел.

Как ребенок!

Но это сравнение Януария Михайловича даже радовало, потому что напоминало о возможности новой жизни. Он терпеливо сносил страдания, ибо твердо уверовал, что они ниспосланы ему как испытание, как знамение будущих удач и свершений.

Оставим нашего героя на некоторое время попечению Терзиева и познакомимся ближе с историей Ставропольской гимназии.

4

Создание на Кавказе учебных заведений являлось острой необходимостью, особенно ощутимой в начале

девятнадцатого века. Многих чиновников от переезда сюда удерживала как раз невозможность дать детям сносное образование. Учебные заведения должны были сыграть заметную роль в просвещении горских народов, укреплении связей колонизованных территорий с Россией.

Поначалу царская администрация пыталась решить эту задачу силами учебных заведений Москвы и Петербурга, но вскоре была вынуждена отказаться от затеи. Непривычные к северному климату, отделенные тысячами верст от родных мест, горские юноши на глазах чахли и даже умирали.

В аулах посылаемых на обучение оплакивали, как мертвецов.

Первая двухклассная школа в Ставрополе была открыта в 1804 году. О характере проводимых здесь занятий говорит уже тот факт, что учителем в ней был отставной вахтер Свирид Извожиков. Школа содержалась в основном на пожертвования купечества, а оно щедростью не отличалось: так, в 1805 году учитель Стефан Поляков получил всего 10 рублей жалованья — «от недостатка городских доходов».

Вероятно, по этой причине «партикулярная» школа в 1816 году была поставлена на казенное содержание и переведена в разряд приходских училищ.

Вторым учебным заведением Ставрополя являлось уездное училище, открытое в 1811 году. В тридцатых годах оно было преобразовано в высшее и стало четырехклассным.

Как первое, так и второе училища входили в состав Казанского учебного корпуса, что создавало немалые трудности в приобретении учебных пособий и решении хозяйственных вопросов.

Так, уездное училище целый год вело переписку о приобретении учебников.

Местное начальство смотрело на нужды просвещения сквозь пальцы. В 1820 году общество построило для приходского училища двухэтажный каменный дом, однако командир 22-й пехотной дивизии генерал-майор Сталь через год приказал разместить здесь больных солдат. Позже нижний этаж школы использовался пожарной командой и даже для содержания арестантов, «возмущающих весьма часто учительный порядок».

Только в 1837 году в Ставрополе была открыта первая на Кавказе мужская гимназия. Поначалу она была отдана на откуп полуграмотным николаевским служакам, ни аза не смыслившим в грамоте, зато преуспевшим в искусстве шагистики.

Первым директором Ставропольской гимназии назначили мариупольского полицмейстера Купенкова, попавшего под следствие за жестокие истязания мещан.

— Истинно говорю — враги, — бил он себя в грудь огромным кулачищем, и неподдельные слезы наворачивались на его мутные глаза. — Враги хотели Купенкова со свету сжить. Не вышло! У Купенкова заслуги! Купенков кровь за государя и Отечество проливал в жестоких сражениях!

Действительно, во время какой-то давней военной кампании артиллерийской гранатой ему оторвало мизинец на левой ноге.

Купенкову Ставрополь понравился. «Апостол просвещения» скоро прославился среди обывателей своей боевой выправкой, умением лихо отдать рапорт начальству да еще неумеренным пристрастием к чаю с коньяком. Хотя точнее сказать — к коньяку с чаем.

Целыми днями можно было видеть его за этим занятием на открытой веранде, умиленно наблюдавшего за своими коровами, которые меланхолично жевали в гимназическом саду траву и опавшие яблоки.

— Антихрист! — исходила в бессильной злобе мещанка Серова, сдавшая в аренду под гимназию дом с участком. — Какой сад губит! Что б тебя с этого молочка пронесло...

Однако могучий желудок Купенкова с одинаковым усердием переваривал деликатесы и грубую пищу. Казалось, сунь ему на обед полено, он, нимало не удивившись, откусит от него, как от огурца, изрядный кусок и запьет глотком коньяка.

Легко можно представить, как учили в гимназии, если дворяне города вынуждены были обратиться с жалобой на Купенкова к предводителю и тот повелел провести ревизию учебного заведения. Жалобы дошли и до попечителя учебного округа, который также констатировал плачевное состояние гимназии. Инспекторы, приезжавшие в Ставрополь, единодушно отмечали, что «умственные способности учеников мало развиты; в учениках замечены грубость, несоблюдение приличий и должного повиновения; педагогические совещания редки; прием учеников... сделан без всякого внимания; успехи даже старших классов учеников были так слабы, что из двух питомцев VII класса ни один не выдержал окончательного экзамена».

Пришлось Купенкова перевести с повышением в другой город, а на его место прислали одного за другим двух воспитанников морского кадетского корпуса. Но морской устав оказался не лучше сухопутного: гимназисты по-прежнему «плавали» на экзаменах.

Лишь в 1844 году к руководству учебно-воспитательным процессом пришел наконец человек нерав-

нодушный и одаренный педагогическим талантом — выпускник Харьковского университета Николай Семенович Рындовский. В наследство ему досталось запущенное хозяйство: преподавание велось через пень колоду, о дисциплине трудно было и мечтать.

Как анекдот рассказывали в городе о встрече преподавателя со своим учеником... в публичном доме.

Дебоши, устраиваемые гимназистами, вынудили генерал-лейтенанта Николая Степановича Завадовского — командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории и управляющего гражданской частью в Кавказской области — объявить, что уличенный в уличной потасовке гимназист будет проведен с барабанным боем через весь город.

И что же?

Ночью в доме Завадовского перебили все окна.

Было от чего прийти в уныние и поддаться панике.

Однако Рындовский где прямиком, а где кнутом понемногу взял ход событий в свои руки.

Поистине неукротимая энергия потребовалась ему в проведении задуманных начинаний. В один день Рындовский встречался с десятком родителей и гимназистов, беседовал с патриархами города и проводил педагогические советы.

Ему удалось объединить достаточно большой круг единомышленников, многие из которых впоследствии работали с Януарием Михайловичем Неверовым.

Стоит, пожалуй, отметить Захария Измаиловича Тактарова, учителя татарского языка, занимавшего высокую должность среди мусульманского духовенства. Муллы воздавали ему почести, как муфтию. Тактаров настолько умело и заинтересованно вел занятия, что многие воспитанники гимназии свободно читали и говорили по-татарски.

Любовью и уважением учащихся пользовался преподаватель словесности Феодосий Дмитриевич Илляшенко, также воспитанник Харьковского университета, впоследствии дослужившийся до должностей директора Тифлисской гимназии и окружного инспектора Кавказского учебного округа. Гимназисты любили приходить на квартиру к этому остроумному хохлу-балагуру, ловили каждое его слово. Илляшенко любил по праздникам толкаться среди простого народа, записывал меткие выражения, пословицы, диалектные словечки.

Поистине энциклопедическими познаниями поражал Иван Данилович Белкин, занимавший скромную должность воспитателя. Хотя он и не окончил курса в Харьковском университете, но благодаря постоянным самостоятельным занятиям досконально изучил латинский и греческий языки, историю и географию.

Должность старшего преподавателя черкесского языка в Ставропольской гимназии долгие годы занимал просветитель адыгского народа Умар Хапхалович Берсей. Это был разносторонне образованный человек. Он помог этнографу К.Ш. Сталю подготовить «Этнографический очерк черкесского народа», вышедший в 1852 году, издал в 1855 году в Тифлисе «Букварь черкесского языка», создал в 1861 году адыгскую азбуку, писал басни и другие литературные произведения.

В этом далеко не полном списке нельзя не упомянуть Анания Даниловича Пузыревского, пользовавшегося непререкаемым авторитетом и любовью воспитанников. Кстати, в 1874–1879 годах он был директором Ставропольской гимназии.

1 января 1849 года Рындовского перевели в Екатеринодар, и некоторое время его обязанности выполнял Василий Дмитриевич Терзиев, с которым перед самым

назначением Неверова в Ставрополь произошло презантное событие, заслуживающее некоторого внимания.

В конце октября 1850 года гимназию посетил наследник престола Александр Николаевич.

Расторопный Терзиев, умевший пустить пыль в глаза, собрал со всего города ковры и покрыл ими полы в коридорах и рекреационной зале. Гимназистов накануне визита цесаревича осмотрели и к встрече допустили самых благополучных — у кого мундиры были поновее и сидели с иглочки. Однако наследник оказался пронизательней. На него не произвели впечатления ни роскошная обстановка, ни прилизанные юноши. Велел он одному воспитаннику снять сапоги. Легко представить, что за этим последовало. Терзиев стоял насупившись, а наследник не унимался: «Почему у мальчика такие грязные чулки?». Находчивый Василий Дмитриевич промямлил, что-де служители лезут в сапоги грязными руками, но у цесаревича уже испортилось настроение.

Впоследствии Терзиев учтет этот урок и в аналогичной ситуации сумеет не только подать товар лицом, но и выговорит себе орден святого Владимира второй степени и чин действительного статского советника.

Начало шестидесятых было для «Парижа Кавказа» во многих отношениях памятным.

В 1850 году стала выходить газета «Ставропольские губернские ведомости», впервые была предпринята попытка освещения Николаевской, Александровской и Театральной улиц газом «спиртоскипидарной жидкости». Опыт оказался настолько многообещающим, что князь Воронцов повелел перенести двадцать фонарей в Тифлис. В начале бульвара у Тифлисской заставы выстроили триумфальную арку, получившую

название «Тифлисских ворот». На Ярмарочную площадь, куда в торговые дни собиралось до двадцати тысяч человек, протянули вторую линию водопровода и построили бассейн.

В 1851 году была вымощена добытым в окрестностях города камнем Николаевская улица.

Словом, Ставрополь на глазах становился цивилизованным городом. Януарию Михайловичу из-за затянувшейся болезни удалось непосредственно приступить к исполнению обязанностей лишь с 1852 года. До этого он принимал решения и отдавал указания через Василия Дмитриевича Терзиева.

В феврале 1852 года попечитель Семенов подал в отставку, и на его место был назначен барон Александр Павлович Николаи. После второй поездки в Тифлис и очередного курса лечения на водах Неверов наконец почувствовал себя вполне здоровым.

Полтора лет оказалось достаточно, чтобы обжить-ся на новом месте, завести знакомства, изучить состояние дел в училищах и подумать о мерах по их усовершенствованию.

В 1852 году в Ставропольской гимназии обучалось 236 человек, в том числе 15 детей «почетных горцев» — князей и верхушки феодальной знати.

С чего же начал свою деятельность Януарий Михайлович?

Сохранились сведения, что в 1852 году «для достижения эстетического образования детей» гимназия приобрела фортепиано. Зная пристрастие Неверова к музыке, легко предположить, что именно он был инициатором этой покупки.

В это же время родилась традиция, способствовавшая развитию творческих способностей воспитанни-

ков гимназии, выработке у них демократических воззрений на российскую действительность.

В неофициальной части «Ставропольских губернских ведомостей» за 25 октября 1852 года сообщалось о проведении первого конкурса сочинений на русском языке, посвященного годовщине открытия гимназии.

«Директор открыл акт краткой речью, — отмечала газета, — в которой изложил перед посетителями причину акта, его важность, цель конкурса, его значение в деле образования. После этого были читаны конкурсантами Амбардановым, Морозовским и Канановым их сочинения; а затем старший учитель Шефлер прочел определение педагогического совета Ставропольской гимназии о присуждении премии, заключающейся в полном собрании сочинений Жуковского в богатом бархатном переплете с приличною надписью и в букете свежих цветов. Премия была вручена автору лучшего сочинения: «О русской народной поэзии», ученику 8-го класса Кананову ставропольским гражданским губернатором».

5

Януарий Михайлович не был аскетом. Он любил вкусно поесть и полюбезничать с дамами, потешить себя изысканной беседой. В Ставрополе он словно обрел на некоторое время утраченную молодость.

Что скрывать, ему была приятна забота, которой окружили его Жанетта Адольфовна Терзиева с сестрой Шарлоттой Добрянской. У Добрянской и сняли квартиру для Неверова.

Хозяева занимали нижний этаж дома, уступив верхний этаж Януарию Михайловичу.

Обыкновенно по субботам Неверов собирал у себя на квартире педагогический совет. Домашняя обстановка, доброта хозяина позволяли приглашенным чувствовать себя непринужденно, обсуждать самые разнообразные проблемы как гимназической жизни, так и политики, литературы. Выявлялись общие интересы, будоражилась мысль, что, конечно же, не могло не сказаться благотворно на учебно-воспитательном процессе.

Педагогические советы, как правило, заканчивались чаепитием, музицированием, танцами.

На огонек заходили родители гимназистов, чиновники. Нередко бывали у Неверова братья Брянчаниновы: Петр Александрович — ставропольский губернатор и Игнатий Александрович — епископ Кавказский и Черноморский. Отец Игнатий слыл большим щеголем. Он обожал шелковые и бархатные рясы, всегда носил белые перчатки и закатывал такие пирушки, что Священный синод был вынужден ограничить расходы епископа 12 тысячами рублей в год.

Братья Брянчаниновы жили душа в душу и чувствовали себя полноправными хозяевами губернии. Когда надо, светская власть приходила на помощь духовной, со своей стороны духовенство не забывало прославлять отеческую заботу губернатора о пастве. Если пирушки у Игнатия затягивались за полночь, Петр Александрович обыкновенно вызывал полицию, которая развозила гостей по домам.

Брянчаниновы поначалу благосклонно отнеслись к замыслам Януария Михайловича. Им льстила роль покровителей просвещения.

Собрания у Неверова, нужно сказать, сыграли немалую роль в образовании местного общества, где

процветали невежество и суеверия. Что говорить о простом народе, когда какой-нибудь «его превосходительство» пресерьезно начинал доказывать, что огонь от электричества несколько не горячий. Он-де сам убедился в этом, положив руку в копну сена, подожженную молнией.

Или являлся к посланнику изнывающий от скуки молодой человек с предложением питаться целый год одним сахаром... на благо науки.

Увы, губернские *comme il faut* совсем не те, что в столице! Они преуспели разве что в способности разбазаривать наворованные деньги да в невероятном умении обводить вокруг пальца ревизоров.

Даже Крымская война мало чем изменила уклад ставропольской жизни, просто увеличилось число курьеров да военных команд. А в салонах по-прежнему увлекались месмеризмом да, отдавая дань моде, глубокомысленно упрекали правительство в том, что оно своевременно не вывело русский флот из Севастополя в Каспийское море.

Летом 1854 года, в самый разгар войны, в гимназию на должность младшего учителя латинского языка был определен выпускник Харьковского университета Николай Ильич Воронов.

Любознательный и прямодушный преподаватель полюбился Януарию Михайловичу. Их объединяло пристрастие к литературе.

В Воронове пытался Неверов разглядеть черты будущего поколения России. Если Януарий Михайлович уповал на просвещение народа как главное условие грядущего обновления, то Николай Ильич был настроен куда более решительно: он верил в торжество социалистических идей, в народную власть, которая придет на смену монархии.

Общение Неверова и Воронова было полезно обоим. Близкое знакомство с действительностью, откровенные беседы во многом поколебали прекраснородушие Януария Михайловича.

— Дай народу просвещение, и император будет вынужден отменить крепостное право.

— Вот поэтому монархия и гасит всякие проблески мысли, — говорил Воронов. — Только из Лондона сегодня и можно сказать открыто о бедственном положении Отечества.

Да, это было новое поколение.

У Николая Ильича в Ставрополе образовался обширный круг знакомств. Поначалу он не обращал внимания на то, с каким вниманием прислушивается к его речам и присматривается к его поступкам Василий Дмитриевич Терзиев. А когда обратил — было поздно.

Кто бы мог предположить, что Терзиев окажется настоящей полицейской ищейкой? Не ради тридцати сребреников старался Василий Дмитриевич, а из азарта, из стремления пресечь крамольные замыслы, из родственных чувств, наконец. К тому же его свекром был начальник штаба войск Кавказской линии и Черномории генерал Капчер, а брат являлся чиновником особых поручений при губернаторе.

Однажды Терзиев как бы мимоходом сообщил Неверову, что в гимназии существует «тайное» общество, в состав которого входят как преподаватели, так и гимназисты, и что члены этого общества называют себя, подобно масонам, «братьями».

— Тут двадцать пятым годом попахивает, — сладко улыбался Василий Дмитриевич, но глаза у него были, напротив, острые и внимательные. — Говорят, и журнал подпольный издают сии «братья».

Януарий Михайлович пытался свести все на шутку.

— Что-то вам, Василий Дмитриевич, в последнее время заговорщики мерещатся. Не после вечеринки ли у отца Игнатия?

Терзиев закатывался смешком и исчезал. Вскоре он уже серьезно предупредил Неверова, что в состав «дружеского общества» входят преподаватели Воронов и Нарбут, гимназисты Трачевский, Попов и некоторые другие. Кто именно, он пока не выяснил, но выяснит в ближайшие дни.

— Так что, уважаемый Януарий Михайлович, необходимо принимать меры. И, представляется мне, самые решительные. Ежели сорную траву не вырвать вовремя, она всю грядку заполонит.

Василий Дмитриевич намекал также, что счел своим долгом уведомить о существовании «общества» попечителя округа барона Николаи.

— На всякий случай.

Что должен был делать в этой ситуации Неверов? Как поступить?

Назначить официальное расследование? Закрывать глаза на происходящее? Он верил Николаю Ильичу, верил его острому уму и горячему сердцу, но не мог оставить без последствий доносы Терзиева, тем более что тот повсюду распустил темные слухи, в которых, между прочим, намекал на давнюю дружбу Неверова с Искандером.

Януарий Михайлович понимал, что может разразиться крупный скандал, от которого не поздоровится многим. И его, при желании, легко можно представить пособником «злоумышленников», их покровителем и вдохновителем.

Действительно, барон Николаи скоро поинтересовался, что за «братья» объявились в гимназии. Как

мог, Януарий Михайлович постарался смягчить удар.

Порешили так: оставить дело без последствий, ограничившись переводом Воронова в Кубанскую войсковую гимназию — в Екатеринодар.

Нарбут подал в отставку.

Над гимназией сгушались тучи. И чем чернее они становились, тем сахарней была улыбка Терзиева.

В 1855 году умер Грановский. Оборвалась последняя ниточка, связывавшая Януария Михайловича с прошлым.

В том же году почил в бозе Николай I, оставив страну накануне позорного поражения в войне.

Зрело недовольство. Во всю мощь звучал над Россией голос лондонского изгнанника — «Vivos voco!» («Зови живых!») начертал он эпитафией к «Колоколу» слова Шиллера.

Вскоре после кончины Грановского один из старых петербургских приятелей Неверова сообщил ему при встрече, что в Лондоне на русском языке вышли записки Герцена «Тюрьма и ссылка», переведенные на французский и немецкий, и что готовится к изданию их продолжение — о годах учебы в Московском университете.

Януарию Михайловичу удалось заполучить желанную книжку. Это было издание Искандера с силуэтами пяти казненных декабристов на обложке: «Полярная Звезда» на 1855 год».

Неверов торопливо пробежал абзацы передовой статьи: «Полярная Звезда» скрылась за тучами Николаевского царствования. Николай прошел и «Полярная Звезда» является снова, в день нашей Великой Пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями. Русское перио-

дическое издание, выходящее без цензуры, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, чтоб показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство».

Он развернул оглавление: «Письмо к Александру II», «Что такое государство?», «Переписка Гоголя с Белинским»... и вот, наконец, на странице 78 — «Былое и думы».

Януарий Михайлович отыскал главу «Юная Москва», автоматически отметил типографскую опечатку. Герцен писал: «В начале 1849 года расстались мы с Владимиром, с бедной, узенькой Клязьмой». В 1849 году Искандер был уже за границей, речь шла, вероятно, о 1839 годе. Но это пустяки. Вот, наконец, строки, посвященные Станкевичу: «Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич. Станкевич, тоже один из праздных людей, ничего не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен — из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский и Бакунин...

...История наступает на пятки, думал грустный Неверов. Он видел за фразами Искандера образы Станкевича, неистового Виссариона... И вдруг Януарий Михайлович словно на неожиданное препятствие натолкнулся: «В числе закосневших немцев из русских был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина; добрый человек в

синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией.

Самый скучный и тяжелый педант, он туда же любил говорить...».

Да это же он, Януарий, — синий магистр! И спор, описанный Герценом, был в салоне Панаева, кажется, зимой 1840 года!

Но ведь все было совсем не так! Не так!

У Неверова болезненно сжалось сердце, и он инстинктивно отодвинул журнал в сторону.

Нет, он не хочет ничего снисхождения — даже искандеровского. Но — справедливости, справедливости...

Неужели его истинные мысли и дела рассеются бесследно, а в памяти людей останется образ беспринципного добряка и педанта? Синего Магистра? Несколько дней Януарий Михайлович не мог найти себе места. В гимназии прошел слух, что он заболел и собирается на воды. Действительно, ему было худо. Так худо, что дальше некуда. Прислуга подняла журнал и положила на стол. Он отодвинул его с глаз подальше. Слова «синий магистр» жгли душу.

6

Разбуженная мысль зреет быстро.

Кажется, совсем недавно он просматривал гимназические сочинения, представленные на первый конкурс, и удовлетворенно кивал, встречая меткое выражение или оригинальное суждение по какому-либо предмету.

И вот уже готовится пятый конкурс, и перед ним лежит толстая стопка тетрадей, каждая из которых

заслуживает поощрения. Некоторым из этих сочинений, право же, в его время позавидовали бы студенты университета.

Януарий Михайлович бережно отложил сочинения и развернул новый номер рукописного журнала, издававшегося воспитанниками. Еще в начале своей педагогической деятельности в Ставрополе он высказал мнение, что всякую попытку литературной самодеятельности следует поощрять и что долг преподавателей — способствовать этому. Со своей стороны, он просил редакторов гимназических журналов давать ему на просмотр свежие номера.

В 1853 году в знак благодарности Неверову поднесли альбом в алом бархатном переплете с золотым тиснением — рукописный альманах «Елка», составленный из лучших сочинений гимназистов. Были тут стихи Саши Трачевского, интересный этнографический очерк Пети Дикова, в котором, между прочим, упоминались некоторые сведения о роковой дуэли Лермонтова. Диков был близким родственником одного из офицеров, участвовавших в печальных событиях, и Януарий Михайлович посоветовал тщательно записать воспоминания об обстоятельствах поединка и вызова, зарисовать место жительства поэта в последние дни. Возможно, когда-нибудь эти записки привлекут внимание.

Януарий Михайлович углубился в чтение статьи Семена Попова.

«Нынешним месяцем кончилось ровно три месяца существования нашего учебно-литературного журнала. Кажется, незаметно пролетело это время, а между тем сколько новостей, различных происшествий, сколько перемен, переворотов случилось в это время в нашей гимназии, а отсюда — сколько было материа-

лов для нашего журнала. Не даем отчета, как воспользовался он всем этим, или, лучше, как воспользовались этими материалами его сотрудники. Большой частью этих сотрудников уже нет; рассеялся тот круг, среди которого начался этот журнал: одни, ограничившись учением в гимназии, отделились служебному поприщу; другие, посвятивши себя науке, променяли нашу гимназию на университет. Счастливы эти последние! — они там в средоточении всего лучшего, там, где человеку дано больше возможности быть человеком; там, где, предавшись науке, он уже может не только с успехом следить за ходом ее, но и на деле видеть приложение ее истин; где среди искусства, доведенного гением и трудом человека до возможного величия и красоты, трудно заснуть душе и предаться апатии».

«Надо бы прочитать выдержки из этой статьи на конкурсном испытании», — подумал Неверов. Статья его взволновала. Может быть, тем, что напомнила мечту об университете, бдения за учебниками у Лихонина и математико-философские импровизации Камашева...

18 октября, как обычно, состоялся торжественный акт, посвященный основанию учебного заведения. После литургии Януарий Михайлович обратился к собравшимся с речью, в которой отметил, что конкурс, кроме возбуждения соревнования между учащимися и поощрения их к занятию отечественной словесностью, служит как бы термометром внутренней жизни гимназии.

— Из сочинений, представленных учениками шестых — седьмых классов, не оказалось ни одного неудовлетворительного, что показывает: живительные начала труда, любознательности и стремления к

самосовершенствованию глубоко вкоренились в сердцах юношества.

Раздались аплодисменты.

Януарий Михайлович улыбнулся, встретившись взглядом с Юхотниковым. Этого молодого преподавателя словесности рекомендовал Неверову сам Грановский.

Первым читал сочинение Владимир Демьяновский.

— Есть слова, многозначные слова! — начал он. В зале затихли. Преодолев смущение, гимназист продолжал увереннее. — Слова, которые одним прикосновением к нашему сознанию рождают вдруг целый ряд великих воспоминаний... Нет народа на земном шаре, который бы не понимал красноречивые выражения развалин, гробниц, храмов, на которых так живо и обаятельно трепещет мысль давно минувших поколений; даже дикарь призадумается над курганом или над разрушенным зданием.

Присутствовавший на чтении губернатор Брянчанинов благосклонно кивал головой.

— Может ли после этого русский быть равнодушным при словах: Киев, Новгород, Псков, Москва и других великих имен его отечественной истории? — Демьяновский выдержал паузу. — Киев — купель Руси. Москва — начало политического величия русского народа. Новгород — представитель старины, чисто славянской, без примеси варяго-русского начала... По смыслу летописей, Новгород и его пригород или колония Псков составляли общины, в которых правление было представительное, между тем как другие города Древней Руси выражали строго монархическое начало.

При словах «монархическое начало» Брянчанинов поднял голову, улыбка сползла с его уст.

Незадолго до акта ему было доложено, что многие конкурсные сочинения содержат вольнолюбивые мысли. Некоторые из работ были исключены из чтений. Черт побери, что же было тогда в наиболее предосудительных работах, если даже пропущенные содержат чуть ли не прямые антимонархические декларации! Нет, пора разобраться с гимназией, поставить наконец на место этого Неверова! Подобные мысли были не у одного Петра Александровича. С мест, где разместилось духовенство, тоже слышались шепотки, шорох ряс, недовольное покашливание.

— Общинное устройство отрицает единство верховной власти и разъединяет эту власть на многие отдельные средоточия; а монархическое, наоборот, — чеканил Демьяновский, — уничтожая представительство, сосредотачивает эту власть в лице одного... Каждый член общины мог свободно излагать свои мнения о делах общинных и чувствовал себя живым звеном своего отечества, возлагающего на него известные обязанности, исполнение которых влекло за собой спокойствие и благоденствие, а нарушение — беспорядок и замешательство. Но Вече или собрание не может быть ежедневно: поэтому власть исполнительная находилась в руках избранных граждан, которые и занимались текущими делами...

Демьяновский закончил чтение. Но дальше оказалось не легче. Из представленной на конкурс работы гимназистов Мамонтова и Попова «Как отразился век Екатерины в сочинениях Державина и Фонвизина» ясно следовало, что Петр I и Екатерина II ничего не сделали для народного образования.

У Петра Александровича зрело раздражение. Масла в огонь подлил Неверов, вручивший Демьяновскому в награду «Историю России» Соловьева. Январий

Михайлович прочувствованно обратился к гимназистам:

— Не забудьте! У вас готово орудие разумной деятельности — слово; но вам еще предстоит много сделать: вы должны усвоить себе науку, переработать ее вашей мыслью — и тогда только вы можете выступить на арену ученой и литературной деятельности с живым словом ко благу науки и отечества...

...Петр Александрович попытался потом образумить Неверова, но Януарий Михайлович был непоколебим, когда заходила речь о его убеждениях.

Брянчанинов написал доклад попечителю учебного округа барону Николаи, где обвинял директора гимназии в подрыве авторитета местных властей и в распространении среди учащихся идей свободомыслия.

Барон Николаи, благоволивший Януарию Михайловичу, принял в этом споре сторону последнего. А кроме того, в письме Брянчанинова он усмотрел стремление ограничить его, Николаи, власть.

Конфликт разгорался.

«В гимназии царит анархия, — возмущался Брянчанинов, — дошло до того, что воспитанники не кланяются мне, ставропольскому губернатору, встречая на улице».

Как ни курьезна была жалоба, а требовала ответа. На это, собственно, и рассчитывал Петр Александрович: как отреагирует Неверов?

«Так как до того времени губернаторы в Ставрополе были все военные, то местное юношество удобно узнавало их, во-первых, по костюму, а, во-вторых, потому что все низшие военные, встречаясь с губернатором, как генералом, отдавали ему обычную военную честь, — не без ехидства отвечал Януарий Михайлович барону Николаи, зная, что тот, конечно

же, не преминет процитировать его слова губернатору. — Но Брянчанинов лицо гражданское, которое на улице не отличается ни костюмом, ни какими-либо другими внешними знаками, чтобы юноши и дети, незнакомые с ним лично, могли узнавать в нем начальника губернии, а потому, чтоб ознакомить с его личностью учащихся гимназии, остается только одно средство: просить его прислать в гимназию 600 фотографических карточек для раздачи их гимназистам, тогда только можно будет взыскивать с них, если они не изучат его физиономии и не будут кланяться при встрече».

Карточки Брянчанинов, конечно, не прислал.

7

Вторая половина пятидесятых годов занимает особое место в биографии Януария Михайловича Неверова. К этому времени были достигнуты заметные успехи гимназией, оправдали себя специальные классы для подготовки учителей в уездные и начальные училища, сформировалась система педагогических взглядов.

Неверов являлся одним из выдающихся русских педагогов своего времени. Его имя по праву можно поставить рядом с именами К.Д. Ушинского (с которым Януарий Михайлович переписывался) и Н.И. Пирогова.

В 1857 году в «Русском педагогическом вестнике» была опубликована программная статья Неверова «Что нужно для народного образования в России?». Связывая возросшее внимание общества к вопросам просвещения с потрясением в Крымской войне, Януарий Михайлович замечает, что «несмотря на

значительные успехи, которые сделала в последнее 20-летие наша ученая литература, одарившая нас замечательными произведениями почти по всем отраслям знания, по какому-то странному случаю она не только не разрабатывала вопроса о воспитании и обучении, но даже и не касалась его. Хотя у нас есть Педагогический институт и во всех университетах учреждены кафедры педагогики и дидактики, но эти науки как-то были непродуктивны на почве русской учености».

Рассуждая о причинах этого явления, Неверов обращается к роли семьи и общества в воспитании юношества. Указав в числе лучших черт национального характера преданность отечеству, смелость и способность к труду, восприимчивость и любознательность, гостеприимство и доброту, он ставит вопрос: «Как же возделывают эти дары наша семья и общество?». Ответ следует неутешительный: «К сожалению, они не только мало содействуют полному их развитию, но нередко даже мешают в том делу природы и своим не всегда благотворным влиянием или губят их, или дают им ложное направление. В нашей семейной и общественной жизни высокие, благородные интересы редко стоят на первом плане, и если случайно какое-нибудь нравственное потрясение, какое-нибудь особое обстоятельство, выходящее из обыкновенной, узкой житейской колеи, не потрясает нашего духовного организма, то богатые его силы гложут или проявляются неправильно. Несмотря на почти повсеместно распространившуюся в высших и средних кругах общества внешнюю образованность, состоящую в довольно порядочном запасе знаний, наша семья и общество бедны нравственными принципами. Что же возбудит их в юноше? Кто ему скажет о них теплое

слово? Он услышит о высших вопросах жизни разве только тогда, когда обратится к литературе; но тогда он уже сложился нравственно, и если даже природа наделила его счастливою духовною организациею, то ему нужно усилие, чтоб переработать свои уже укоренившиеся привычки, наклонности; при такой борьбе он редко найдет содействие со стороны общества. То, что близко, дорого его молодому сердцу — Отечество, долг, бескорыстие, любовь к истине, все это мало возбуждает живого интереса в обществе; об этих предметах, если иногда и говорят о них, говорят холодно, из приличия (есть же нравственные приличия для общества, которых оно не может нарушить, не потеряв права на порядочность); и притом слова и жизнь являются здесь часто в самом низком противоречии; а известно, что как бы ни хороши были проповеди и наставления, но если они не согреты истинным убеждением, теплым чувством, то не производят никакого действия, тем более если не сопровождаются живым примером».

Просчеты семьи и общества в деле воспитания, по мысли Неверова, могла бы исправить литература как источник нравственных гуманистических идей. Однако гоголевское направление, возобладавшее в словесности, изобличив «кривизны и уклонения» российской действительности, ее бесцветность и пошлость, не представило ничего идеального, а «идеал для юноши столь же необходим, как луч солнца для молодого растения».

«Двадцать лет тому назад, при господствовавшем тогда классическом направлении ученья, учащиеся приобретали менее учености, чем ныне, но более человечности, если можно так выразиться, и вносили в жизнь более готовности к труду, более высоких, бла-

городных порывов; тогда как теперь мы приобрели многих отличных специалистов, но, может быть, на столько же людей потеряли; а оттого и масса познаний, бесспорно увеличившаяся, не приносит плода ни государству, ни обществу, а служит только к увеличению претензий частных, к достижению целей чисто эгоистических... человеку нужно не только приобрести полезные в жизни знания, но прежде всего быть человеком, существом нравственно разумным, духовным, живущим... не для себя, но для всех и для всего».

Оценивая состояние народного образования в России в целом отрицательно, Неверов намечает в статье целую программу преобразований. Первым звеном он считает реформу женского воспитания.

Следует отметить, что вопросы, развитые в данной программной статье, волновали Януария Михайловича давно. Еще в годы учебы в университете, в 1833 году, он делает в дневнике некоторые записи, касающиеся положения женщины в обществе и ее образования. Эта же тема продолжала занимать его и впоследствии. Она была предметом обсуждения со Станкевичем в Берлине. Кстати, Елизавета Павловна Фролова, их берлинская знакомая, также посвятила женскому вопросу целую статью.

«Вместе с образованием женщины само собой изменится и воспитание мальчиков, — пишет далее Неверов. — Она сама будет сеять в душе сына семена религии, добра, силы, энергии, чувства долга и, укрепив его в общечеловеческих началах, с любовью благословит на специальный труд, избранный сознательно, сообразно с дарами природы и наклонностями сердца. Она не будет представлять ему как величайшее счастье носить густые эполеты или иметь блестящий экипаж, а сумеет найти идеал добра и блага на всяком поприще,

на которое его увлекут его наклонности; она не станет рядить свою десятилетнюю дочь как куклу, приучать к безумной роскоши, кокетству и представлять верх блаженства в блистательном замужестве, но скажет ей, что цель ее жизни заключается в семейном счастье, которое состоит в нравственных достоинствах ее самой и существа, избираемого ею в спутники на земном поприще, а не в титулах и богатстве».

К делу образования необходимо привлечь талантливых людей, развивает свою программу Януарий Михайлович.

«Карьера в России делается везде легко, кроме учительского знания, даже в гимназии; он (молодой человек. — С. Б.) скорее будет просить поместить его писцом в какую-нибудь палату, и слово “учитель”, поражая так неприятно слух родителей, невольно отзывается неприятно и в ушах детей».

Наконец, в обществе господствует превратное понятие об образовании, когда родители заботятся больше о том, чтобы обучить детей языкам и поместить в такое заведение, где открывались бы хорошие перспективы по дальнейшей службе. Отсюда страсть к иностранным гувернерам, которые по своему невежеству большей частью калечат неокрепшие души. К учительскому званию в России относятся пренебрежительно, не ценят по достоинству.

Просвещать и формировать общественное мнение в первую очередь следует через печать. Во-первых, через специальные журналы, а во-вторых, через местную периодику, публикуя актовые речи, статьи о постановке учебного процесса, мнения педагогов и общественности.

В статье Неверова много ценных конкретных предложений об улучшении материального положения

учителей, введении института «учительских помощников» для прохождения предварительной практики, о реорганизации подготовки педагогических кадров в крупных городах и провинции. Многие из новаторских для своего времени идей были осуществлены Януарием Михайловичем в Ставрополе.

Блестяще оправдала себя разработанная Неверовым методика обучения горцев. Многие из них впоследствии сыграли заметную роль в просвещении своих народов.

Статья «Что нужно для народного образования в России?» стала заметным явлением в русской педагогической мысли шестидесятых годов, выдвинула Неверова в число видных деятелей народного просвещения.

К сожалению, педагогические взгляды Неверова до сих пор не изучены. В дореволюционной литературе им посвящены несколько описательных глав в книгах Н. Бродского «Я.М. Неверов и его автобиография» (М., 1915) и М. Краснова «Просветители Кавказа» (Ставрополь, 1913). Современные исследователи к педагогическому наследию Неверова не обращались, хотя, мы убеждены, это позволит открыть новые страницы в истории развития педагогической мысли.

8

В 1859 году по инициативе студентов Киевского университета и при активном содействии выдающегося педагога Николая Ивановича Пирогова были открыты первые бесплатные воскресные школы для народа.

В письме киевскому генералу-губернатору И.И. Васильчикову в сентябре 1859 года Пирогов сообщал:

«Некоторые из гг. студентов университета св. Владимира, в видах человеколюбия, изъявили готовность заняться по праздничным дням бесплатным элементарным обучением детей рабочего класса мужского пола. Профессор университета св. Владимира Павлов изъявил со своей стороны готовность в педагогическом отношении содействовать этим молодым людям в их общепользном и бескорыстном предприятии.

Во внимание к пользам, какие воскресные школы приносят детям ремесленного и рабочего класса вообще, которые не имеют ни времени, ни средств посещать обыкновенные школы и оттого остаются в совершенном невежестве, не зная ни грамоты, ни закона Божия, я разрешил открыть воскресную школу в здании Киево-Подольского уездного дворянского училища под надзором и руководством профессора Павлова и штатного смотрителя Слепушкина.

Доводя об этом до сведения Вашего сиятельства и прилагая при этом копию программы преподавания в воскресной школе, имею честь покорнейше просить не отказать этому благотворительному предприятию в просвещенном покровительстве Вашего сиятельства».

Демократически настроенная интеллигенция восторженно восприняла это начинание. Воскресные школы росли, как грибы после дождя, приведя правительство в некоторое замешательство.

Подобная форма просвещения народа, конечно, не могла не заинтересовать Неверова.

Весть о почине киевских студентов быстро долетела до Ставрополя. Уже в конце ноября 1859 года Януарий Михайлович ходатайствовал перед попечителем учебного округа Николаи об открытии воскресной школы для бедных детей при гимназии.

Николаи медлил с решением, желая, вероятно, лучше выяснить позицию правительства.

А там мнения, как мы уже писали, разделились.

А.В. Никитенко сделал в дневнике в 1860 году следующую запись: «Гонение на воскресные школы. Князь В.А. Долгорукий подал государю записку, направленную против них, внушенную ему графом С.Г. Строгановым. За три или четыре дня министр наш делал государю представление о безвредности этого народного дела и о необходимости не стеснять его. Государь согласился с ним. А теперь опять хотят начать преследование грамотности, которая, конечно, не составляет еще образования, но дает народу ключ к нему. Разве хотят осудить народ на вечную закоснелость, и когда же? Когда ему дают свободу?».

В 1862 году напуганное ростом антиправительственных настроений студенчества и интеллигенции, волнениями, последовавшими после освобождения крестьян, правительство запретило воскресные школы. Официальным поводом послужило то, что в Киеве воскресные школы были использованы в целях революционной пропаганды.

Однако в Ставрополе они просуществовали едва несколько месяцев. Хотя барон Николаи после некоторых колебаний утвердил проект воскресной школы в виде опыта на один год, губернатор Брянчанинов воспротивился этому решению.

— Так как по предмету утверждения проекта воскресной школы я не получил повеления от наместника, то не считаю себя вправе привести в исполнение распоряжение о ее открытии, — сухо уведомил он Януария Михайловича.

Подобно Петру Александровичу — в штыки — воспринял идею и преосвященный Игнатий. По-

следний не поленился порыться в Писании и, указывая холеным пальцем в четвертую заповедь, доказывал: «В воскресные и праздничные дни возможно преподавание лишь истин христианской веры да возношение молитв Господу. Занятие с детьми другими предметами недопустимо, ибо нарушает святость сих дней».

Брянчаниновых поддержал кавказский наместник князь Барятинский, на рассмотрение которого было передано дело. Его резолюция гласила: «Не считая от подобного учреждения особой пользы, не желаю открытия при Ставропольской гимназии и предполагаемого воскресного класса».

Не желаю — и точка. Несколько ранее, 26 мая 1860 года, Барятинский, донося на Неверова самому Александру II, указывал на «страшное направление Ставропольской гимназии» и призывал принять самые решительные меры «для предупреждения последствий воспитания в духе и с целями, противными самой идее государства».

Донос возымел действие. С июля 1860 года была упразднена должность попечителя Кавказского учебного округа. Николаи перешел в другое ведомство. С одобрения царя Барятинский подчинил дирекцию ставропольских училищ непосредственно местному губернатору.

На глазах рушились плоды кропотливой десятилетней деятельности. Януарий Михайлович не мог спокойно смотреть на это и в 1861 году оставил Ставрополь, приняв предложение возглавить в Москве Лазаревский институт восточных языков.

Кастальский ключ

1

С отъездом Неверова дела в Ставропольской гимназии шли год от года хуже. Януарию Михайловичу писали, что резко упала успеваемость. Уже в 1862 году из пяти державших экзамен трое воспитанников получили единицы, а в старшие классы было переведено менее половины гимназистов.

Постоянное вмешательство губернатора в дела учебного заведения привело к тому, что лучшие преподаватели покинули Ставрополь, а оставшиеся только и смотрели за тем, чтобы не прозевать какое-нибудь тепленькое местечко по интендантству.

Петр Александрович Брянчанинов недолго упивался властью. В том же 1861 году его сменил новый губернатор, Константин Львович Пашенко, а Петр Александрович, как и преосвященный Игнатий, решил посвятить себя Богу, постригся в монахи и до конца своих дней писал воспоминания, которыми пользовался впоследствии историк А.Л. Зиссерман в книге «Фельдмаршал князь А.И. Барятинский».

Покидая Ставрополь, Неверов оставил в качестве своеобразного руководства для педагогов и воспитанников «Нравственный катехизис», в котором давал практические советы по разнообразным вопросам гимназической жизни. Но некому было пользоваться его заветами.

Упадок некогда процветающего учебного заведения достиг за короткое время такой степени, что стал всерьез волновать местное начальство. Осенью 1862 года губернатор, посетивший гимназию, застал воспитанников гуляющими по зданию без всякого надзора во время, отведенное для занятий. Подобные случаи пренебрежения служебными обязанностями настолько участились, что директор гимназии А.С. Марков распорядился делать вычеты из жалованья у учителей, пропускающих занятия.

2

Януарий Михайлович скучал по Ставрополю. Он искренне радовался, встретив в Москве кого-нибудь из своих воспитанников. Он ташил их либо в кондитерскую Филиппова, либо к себе домой.

В одном из стихотворений боготворимого им Пушкина жизнь сравнивалась с тремя ключами.

Кавказ явился для Януария Михайловича Кастальским ключом вдохновения, временем творческой зрелости.

Удивительно ли, что при первой возможности, в мае 1864 года, Неверов вернулся сюда главным инспектором учебных заведений, а через три года он был назначен попечителем Кавказского округа.

Нет, он не дал зачахнуть своему Кастальскому ключу. С прежней энергией принялся Неверов за дело, возродил многие старые традиции, создал новые. Живя постоянно в Тифлисе, он часто посещал другие города, бывал на занятиях, беседовал с преподавателями, проводил педагогические советы.

В Тифлисе Януарий Михайлович осуществил свою давнюю мечту — открыл первый на Кавказе учитель-

ский институт, который возглавил бывший учитель математики Ставропольской гимназии Н.П. Захаров. Кстати, и в Москве место Неверова в Лазаревском институте также занял воспитанник Януария Михайловича — Кананов.

3

Наступили «смутные» времена. Освобождение народа не принесло ему облегчения. «Народ надули, — говорили в открытую, — воли без земли не бывает».

На арене общественной деятельности появляется разночинец, все большее количество умов завоевывает идеология народничества. Властителем молодежи становится Чернышевский.

В апреле 1866 года в центре Петербурга, у решетки Летнего сада, раздается выстрел Каракозова в Александра II.

Как же реагировал на все эти события наш герой?

Описывая спор в салоне Панаева, мы обещали вернуться к вопросу о взаимоотношениях Неверова и Герцена. К сожалению, материал, которым мы располагаем, чрезвычайно скуден, однако игнорировать его было бы опрометчиво. По крайней мере, эти отрывочные факты дают повод высказать несколько соображений.

По вполне понятным причинам Неверов не оставил воспоминаний о Герцене: действовало официальное вето на имя Искандера. Но не только это, думается, удерживало перо Януария Михайловича.

Не исключено, что в 60–70-е годы он по каким-то неизвестным нам каналам поддерживал отношения с Герценом. Прямое указание на это дает доктор исторических наук И.П. Лейберов, посвятивший династии

Вороновых обширное исследование. Книга Лейбелера «Щебельдинская находка» прочно вошла в научный обиход.

Что же говорит в пользу нашего предположения? Во-первых, то, что в это время с Герценом виделись и переписывались многие близкие друзья Неверова. Назовем хотя бы Мельгунова. Во-вторых, Николай Ильич Воронов, посвятивший себя революционной деятельности, по заданию редактора «Русского слова» и члена «Земли и воли» Григория Евлампиевича Благодетельского в конце февраля 1862 года выехал за границу, чтобы установить личные контакты с Герценом, Огаревым и Бакуниным, организовать переправку нелегальных изданий в Закавказье.

Воронов неоднократно встречался с Искандером в Лондоне. В знак уважения последний подарил ему на прощание шпагу. Неужели во время продолжительных бесед Воронова с Герценом о положении на Кавказе ни разу не было упомянуто имя Неверова? Маловероятно.

Не привез ли Николай Ильич какой-нибудь весточки и для Януария Михайловича?

Есть, наконец, еще одна «зацепка». В 60–70-е годы Неверов довольно часто — почти ежегодно — выезжал на лечение за границу. Выскажем фантастическое на первый взгляд предположение о возможной встрече с Герценом или с кем-то из близкого ему круга. Что говорит в пользу данной гипотезы?

В книге М. Краснова «Просветители Кавказа» есть любопытные сведения: «Во время осмотра учебных заведений вне Тифлиса Неверов по вечерам любил беседовать с местным учебным персоналом не по вопросам педагогики или дидактики, а на современные, большей частью литературные, темы, интересо-

вавшие общество той эпохи. Для таких бесед к начальнику учебного заведения приглашались преподаватели, которые известны были за знатоков литературы, следящих за ее направлением. Януарий Михайлович натуральную школу называл просто «нравоописательно» и не любил об ней разговаривать. К большинству славянофилов он относился сочувственно, но некоторых из них, встреченных им в литературных кружках Москвы, прямо называл неблаговоспитанными. Неверов — питомец Берлинского университета начала тридцатых годов (Ошибка. Как известно, Неверов был в Германии в 1837—1839 гг. — С. Б.) — весь был пропитан благоговением пред корифеями немецкой классической литературы — Шиллером, Гете и пр. Поэтому он вступал с особым оживлением в беседу о немецких писателях второй половины XVIII и первой четверти XIX века. Здесь он не затягивал своей речи (э...э...э), что всегда он делал, когда ему приходилось говорить о скучных материях. Особенно свежим и добрым Януарий Михайлович себя чувствовал по возвращении из Кисловодска, после ванн нарзана, или с заграничных курортов. Тут речь его лилась рекою, и Неверов казался помолодевшим на целых 25 лет.

Как бы нечаянно, доставая какую-либо книжку из ручного саквояжа, Януарий Михайлович ронял привезенные из-за границы прокламации или нелегальные листки, делая вид, что не замечает этого. Разумеется, сидевшие около него успевали за 2—3 минуты поднять и прочесть оброненное, а затем вручить его по принадлежности. Януарий Михайлович со словами: «Ах, Боже мой» — спешил опять запрятать в свой саквояж листки. Впрочем, такая небрежность, намеренная или ненамеренная, не имела никаких последствий: никто не пользовался оплошностью попечителя. Но, веро-

ятно, за границей нашлись охотники, которые донесли в Петербург о провозе Неверовым нелегальной литературы. Поэтому как-то на границе отобрали книжки и листки у Януария Михайловича и возвратили ему их только тогда, когда из Тифлиса был получен отзыв наместника о Неверове как о совершенно благонадежном человеке».

Отметим, что в это время старый приятель Неверова барон Николаи занимал высокий пост начальника главного управления по гражданской части при кавказском наместнике. Вероятно, именно он спас Януария Михайловича от больших неприятностей.

Но в данном случае не это главное. Как видим, имеются сведения о причастности нашего героя к распространению нелегальной литературы — вероятнее всего, «Полярной Звезды», «Колокола», других изданий Вольной русской типографии.

Случайно ли и то, что в семидесятых годах резко увеличивается количество «кавказских публикаций» в «Колоколе»? Одним из корреспондентов Герцена был, как установлено профессором И.П. Лейберовым, Николай Ильич Воронов. Но как попали в Лондон другие сообщения из Ставрополя и Тифлиса?

Эта тема еще ждет своих исследователей.

Ответ на поставленные вопросы поможет вписать новую страницу в историю русского освободительного движения. И возможно, заставит по-иному взглянуть на фигуру «Синего Магистра» — Януария Михайловича Неверова.

Пусть в своих взглядах он не пришел к необходимости революционных преобразований в России, мировоззрение его развивалось по пути демократизации, а не умеренного либерализма.

И поистине нелепо выглядит образ либерала с герценовскими прокламациями в саквояже!

4

Постепенно здоровье Неверова сдавало. Чаще приходили мысли о третьем пушкинском ключе — ключе забвения.

Он любил уехать в Кисловодск, снять в гостинице скромный номер, подолгу сидеть в тихом уголке парка, уединившись от мирской суеты и докучливых просителей.

Молодые журналисты пренебрежительно величали его «старухой».

Тянуло к прошлому. Неверов все больше и больше жил воспоминаниями далекого детства и университетской юности.

Верякуши. Детство

«Динь-дон! Динь-дон!» — поют колокольчики на дуге. Катится земля под колеса. Несут резвые кони экипаж на почтовую станцию Ореховец, что прикорнула на обочине тракта, соединяющего Арзамас с Тамбовом.

«Динь-дон! Динь-дон!». Вот выглянул из-за зонтика купол деревянной церквушки с крестом. Потом появилось и само село в двести дворов, столпившихся вокруг пруда.

Динь-дон! — завернул экипаж к обширному господскому дому с множеством хозяйских построек — кухней, людскими, амбарами...

— Никак Нурка приехал, — ахнет выбежавшая на крыльцо Феоктиста.

На крик выплывет степенно из покоев Наталья Ивановна, выскочит дед Петр Алексеевич и подмигнет с укором, вспомнив злополучную охоту, когда Януарий улегся в кустах читать роман и не заметил, что заяц, миновав опасную зону, преспокойно удалился в лес. Тогда, благодаря прекрасной Матильде и ее обожателю Малек-Аделю, длинноухий остался здоровствовать, а Нурка едва не схлопотал от разгоряченного деда арапником. Приговор был суров:

— Не способен к благородным удовольствиям. Отобрать у него стремянное и свору и исключить из охоты!..

Но это все дела давно минувших дней... Конечная остановка не за горами.

Эпилог

1

— Вы его родственница? — спросил врач.

— Нет, — с вызовом ответила сиделка, которой надоело при каждом визите объяснять этому ученому олуху, что больной одинок, как перст.

Врач пожевал губами и промямлил, что надежды, в сущности, не остается никакой и что необходимо сообщить родным.

— У него нет родных, — взвизгнула сиделка, одинаково ненавидевшая забывчивого эскулапа и сухого старика, лежавшего в синих очках на диване и выкрикивающего в бреду непонятные ей слова, зовущего каких-то Эмилию и Станкевича...

— Ну-ну,— сказал врач и пожал плечами. — Говорите тише, не беспокойте больного...

Сиделка отвернулась и презрительно фыркнула.

2

Старик не спал уже несколько дней. Сознание все реже возвращалось к нему. Единственное око ничего не различало. Только по светлевшему временами пятну окна он догадывался: день.

Но это его, впрочем, не волновало. День ли, ночь — какая, собственно, разница?

Он лежал без движения на неудобном ложе. Белье давно не меняли, ожидая со дня на день его смерти.

Сиделка невыносимо брюзжала, считая, что старик ее не слышит, а может, специально, чтобы услышал.

— Скорей бы место ослобонил!

«Кому место? — равнодушно думал Неверов. — Странное слово — ослобонил... А впрочем — скорее бы...».

Он физически осязал, как через какие-то незримые клапаны жизнь вытекает из его тела.

Что боль?

С болью он свыкся.

Боль — от жизни.

Куда ужаснее эта звериная тоска, беспросветная, как петербургское небо, как своды склепа...

3

Однажды боль исчезла. Стало так легко, что он невольно схватился рукой за диван.

«Наконец», — подумал старик и поворотил голову к окну. Ничего не различил и решил, что — ночь.

Где-то скрипнула половица. И все снова затихло.

Он лежал и чего-то ждал, не веря, что его час пробил, что жизнь угаснет так прозаично — в душной комнате, провонявшей больным телом и камфарой.

Старику вдруг стало страшно. Он хотел крикнуть, но язык не повиновался. Тогда он с трудом сел, удивляясь, что тело ему еще подчиняется. Опустил холодные ноги на пол. Попытался встать. Это ему удалось.

Старик обрадовался и сделал шаг вперед. Под ногой что-то хрустнуло и впилося в сведенные судорогой мышцы.

«Акация, — мелькнуло в гаснущем сознании. — Хотя откуда тут акация? Разве я в Верякушах?».

Ни пола, ни стен, ни потолка больше не было. Не было ничего.

Все ближе и явственней слышал старик шум, подобный свисту ветра, скрежету жерновов, звону тысяч потоков, низвергающихся с небес.

Колесо времени.

— Ты где, Мельник? — прохрипел.

— Оно становится, — услышал в ответ голос Мельгунова.

— Я тебе помогу, — обрадовался старик и сделал еще один шаг. Ноги его подкосились.

В глаза хлынуло солнце.

«Страшно шумит океан житейский, воздвигая безумные волны на одинокого пловца... И ты сам был в мире — и на тебя воздвигалось житейское море!

Вдали, среди волн, покачивался легкий челн. Он приближался к берегу. Старик узнал Станкевича и помахал ему рукой. Вот уже можно различить длинные черные волосы, развеваемые ветром, тонкий с горбинкой нос, ласковую улыбку.

— Милый мой...

4

Его нашли утром у двери. Лицо покойника было безмятежно счастливым. Рядом валялись раздавленные синие очки.

5

Так в 1893 году скончался «Синий Магистр» — тайный советник Януарий Михайлович Неверов.

Смерть его, как он и предсказал, прошла незамеченной. Былых друзей не было в живых, ученикам ока-

залось не до него. На отслуженной в Ставропольском соборе панихиде присутствовал лишь один его воспитанник Макоровский.

6

В одном из вариантов духовного завещания Неверов пишет: «В 1838 году, в Берлине, Станкевич, ввиду того обстоятельства, что Россия ни в чем так не нуждается, как в образовании народа, взял с покойного нашего общего друга Т.Н. Грановского и меня слово — всю нашу жизнь посвятить делу народного образования — и сам окончил жизнь почетным смотрителем Острогжского уездного училища. Я, оставаясь верным этому слову до конца жизни, хочу быть полезным тому делу, которому служу почти сорок лет, и по смерти...».

На скопленные Януарием Михайловичем средства были учреждены школы в Удеревке и Верякушах, а также образован ученический фонд в Ставропольской гимназии.

7

Через некоторое время портреты Неверова вынесли из классных комнат.

На Россию надвигалась волна революций. В течение десятилетий имя «Синего Магистра» находилось в забвении. И сегодня, как бы оправдываясь за непростительное пренебрежение современников и потомков, мне хочется обратиться к своему герою.

«Мой милый маркиз Поза!

Мой «Синий Магистр», во мраке слепоты и одиночества борющийся со стихией житейского моря! Мой неисправимый идеалист, сохранивший, несмотря на

все удары судьбы, веру в человеческую доброту, преданность юношеской дружбе и принесенной в Берлине клятве!

Прочь синие очки!

Я хочу посмотреть в ваши глаза и сообщить вам нечто, о чем вы могли только мечтать на закате долгой жизни.

Благодаря вам мы сегодня отводим видное место в истории России кружку Станкевича, ибо именно вы жили его жизнью, бережно сохранили для потомков бесценные письма друга и написали о нем свои воспоминания. Ваши критические статьи привлекают и, без сомнения, еще привлекут многих исследователей. Ваш педагогический талант взрастил целую плеяду видных общественных деятелей и литераторов, ученых и просто честных, любящих Россию людей.

Да, правда, что ваши портреты вынесли из учебных заведений Кавказа. Горькая правда и то, что на панихиду пришел один-единственный ваш ученик...

Но гораздо большая правда в том, что талантливый и порывистый осетин Коста Хетагуров стал гордостью своего народа и всех народов великой державы.

Коста любил вас и посвятил вам стихотворение. Вот оно.

Я знал его... Я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей,
Когда и труд, и силы, и заботы, —
Всего себя он отдавал лишь ей.
Я не забыл, как светочем познания
Он управлял могучею рукой,
Когда с пути вражды и испытанья
Он нас повел дорогою иной.
Мы шли за ним доверчиво и смело,
Забыв вражду исконную и месть.

Он нас учил ценить иное дело
И понимать иначе долг и честь...
Он нас любил, и к родине суровой
Он завещал иную нам любовь;
Отважный пыл к борьбе направил новой
И изменил девиз наш — «кровь за кровь».
Он нам внушил для истинной свободы
Не дорожить привольем дикарей...
Я знал его, я помню эти годы,
Когда он жил для родины моей...

Нет, не зря вы прожили жизнь, «Синий Магистр»!
...В зябкий день поздней осени стою у стен бывшей
Ставропольской гимназии и стараюсь представить то
далекое время, когда вы, прихрамывая, шли по класс-
ным комнатам, приветливо раскланиваясь с препода-
вателями и гимназистами, спускались на улицу.

Я отчетливо вижу вашу нескладную фигуру.
Октябрьское солнце оранжево блестит в стеклах
очков. С тополей облетают листья.

И я спешу вам навстречу».

Приложение

Автором одного из 19 сочинений гимназистов, о которых было сказано в Предисловии, является Александр Семенович Трачевский (1838–1906), будущий известный историк России, который учился в Ставропольской гимназии с января 1850 года по декабрь 1855 года. За время учебы он трижды принимал участие в конкурсах на лучшее сочинение. Публикуемое сочинение было представлено на конкурс воспитанников VI класса Ставропольской гимназии 18 октября 1853 года, когда Трачевскому было пятнадцать лет, и удостоено первой премии.

А.С. Трачевский — автор учебников для гимназий по истории России и всех периодов всеобщей истории, активный сторонник высшего женского образования. В Одессе вместе с женой Ю.А. Трачевской он создал подготовительные женские курсы для поступления в вузы, а также «Новую школу» с собственной прогрессивной программой. В 1886 году, в период контрреформ, эти учебные заведения были закрыты правительством.

О значении синонимов в связи с вопросом об изучении языка

(Объяснение синонимов «воспитание»,
«учение», «просвещение», «образование»)

Слово дано человеку для выражения его мыслей и чувствований. Понятно, что человек, прежде нежели скажет какую-либо мысль, должен составить ее в своем уме; прежде чем словами выразить какое-либо чувствование, должен ощутить его в душе. Таким образом, язык народа, выражая его мысль и чувство, служит вместе и выражением его национального духа, выражением, по которому можно узнать славные, преобладающие над другими силы духа, потому что народ говорит только то, что внушит ему ум или

что кроется в душе его. Следовательно, изучая язык — способность, данную человеку для выражения мыслей и чувствований, — мы изучаем самую мысль и знакомимся с самими этими чувствами.

Уже такая тесная, неразрывная связь языка и мысли указывает нам, в чем должно заключаться и самое изучение первого. Не внешние формы и изменения слов, не совокупность сухих грамматических правил, не это поверхностное, школьное, но так долго бывшее в употреблении изучение языка должно быть крайнею целию наших усилий, а, напротив, изучение при помощи этих внешних средств тех внутренних законов, которые существуют в языке, потому что существуют в самом духе. А для такой цели что может быть полезнее языка отечественного? Вспомним, что давно уже один из мудрецов древности всю мудрость человеческую определил выражением «познай самого себя».

Это знание самого себя всего прямее и вернее достигается через изучение языка отечественного, ибо понятно, что, только узнавая мысль, дух своего народа, я как часть этого народа научаюсь непосредственно понимать свою собственную мысль, свои собственные силы.

Кроме того, при изучении языка мы, узнавая мысль народную, анализируем ее, замечаем, на какой степени совершенства находится она, сличаем с мыслию того же народа в предшествовавшие времена и таким образом составляем историю этой мысли, этого языка или литературы — историю, в которой видим и начальное образование языка, и весь ход дальнейшего развития его — это постепенное усовершенствование мысли народной.

Изучение языка отечественного в связи с иностранными ведет еще к большему результату, ибо оно дает нам возможность верно судить о степени нашего собственного развития, о богатстве и глубине наших идей.

В языке народа заключается и его история, и его характеристика; так, слово германца проникается стремлением к жизни духовной, нравственной; француза — приноровлено к обстоятельствам жизни... Что же вещает нам слово Русское? Моя мысль останавливается при этом вопросе;

она при всем желании не может высказаться определенно, но чудится мне при этом и русская природа, и русская жизнь, и русская песня — все безмерное и необъятное, как безбрежный океан, как мир; и верится мне, что к великому и славному призван народ, наделенный столь необъятными силами физическими и духовными; все проявления духа человеческого, которые мы замечаем у других наций, суждено ему соединить в одно целое!..

Но не одни только общие законы и свойства языка достойны нашего внимания; каждое частное явление в языке, каждая его особенность может быть источником для разнородных суждений и выводов, более или менее важных и полезных уже потому, что они расширяют пределы и сферу нашей мысли.

Я намерен говорить не об общих свойствах языка русского, но для подтверждения своей мысли остановлюсь вниманием на одних только тех словах, которые, исходя от разных корней, имеют значение столь сходственное, что с первого взгляда иногда трудно заметить ту малую степень различия, которая находится между ними. Такие слова называются синонимическими, или подобнозначачими.

Хотя из большего или меньшего обилия синонимов можно заключать о богатстве языка, ибо бывает по нескольку синонимов на одно и то же понятие, т.е. несколько слов для выражения одной и той же мысли, но, однако, не должно забывать, что каждое из них, означая понятие, сходное с понятиями, которые означаются и прочими словами, в то же время заключает в себе какую-нибудь особенную сторону, какой-нибудь новый оттенок предмета или действия, не подмеченный мыслию в прежние времена.

В природе нет предметов, совершенно сходных между собою. Оттого-то, как ни сходны бывают иногда синонимы, какие близкие понятия ни означают они, но все-таки между ними существует различие. При этом еще прибавлю: часто слова, из разных корней происходящие и выражающие отдельные понятия, только отчасти родственные, к одному кругу действий и представлений относящиеся, так иногда сближаются между собою общим употреблением,

что их также можно причислить к синонимическим. Не углубляясь мыслию нашею в смысл таких слов при быстром пролете их в нашем уме, мы часто без разбора употребляем их одно вместо другого. Но подобное безотчетное употребление не есть еще закон; и для того, кто на язык смотрит как на самый разум, перешедший в звуки, весьма полезно останавливаться своею мыслию на подобных явлениях, чтобы понимать, на каком основании внутреннее различие между словами сглаживается в употреблении, почему и когда оно может быть допущено и в чем оно действительно заключается.

Я останавливаюсь при этом на словах «воспитание», «учение», «просвещение» и «образование», которые иногда действительно смешиваются друг с другом в употреблении и которые мы вообще часто употребляем безразлично.

Я начну со слова «воспитание». Оно происходит от глагола «питать». Этот глагол означает действие физическое: давать пищу кому-нибудь. Понятно, что даем пищу, питаем мы того, кто сам еще не в состоянии найти или взять пищу, кто не имеет довольно сил для этого.

Если можно питать физически, то можно питать и нравственно, т.е. давать пищу нашему уму и сердцу. Пищею же ума может служить постоянное возбуждение его к деятельности, а пищей сердца служат те прекрасные примеры добродетели, при виде которых оно научается понимать и любить истину, благо. Следовательно, при самом начале жизни человека мы должны дать ему ту основу истины и блага, которою он руководствовался бы впоследствии. Оттого-то те начала добра или зла, которые были внушены человеку при его воспитании, почти всегда уже остаются преобладающими в его душе; их отпечаток отражается во всех его поступках. Так, если человек с младенчества привык правильно и бескорыстно судить о предметах, если он постоянно имел пред глазами образцы добродетели и блага, то он навсегда сохранит здравый прямой ум и доброе сердце; этот ум и это сердце всегда выкажутся во всех действиях человека — и в его благородных манерах, и в самом лице, иногда и неправильном, но отражающем такую добродетельную приятность... И, видя его

поступки, невольно скажешь: «Вот человек хорошо воспитанный!». Но если, напротив, человек постоянно видел и слышал одно только дурное, то он часто уже навсегда остается человеком порочным, низким — и самое лицо, эта вывеска души человека, вполне выкажет его характер, в самых глазах его вы прочтете порочность его сердца.

Таково, мне кажется, настоящее значение понятия, выражаемого словом «воспитание»; и если мы сравним его хотя бы с латинским «*educatio*» от «*duco*» — «веду», то не более ли глубокий, не более ли истинно человеческий смысл мы заметим в нашем выражении?

Но чтобы светлый ум, образовавшийся через хорошее воспитание, мог стоять против всех ложных мнений, против предрассудков, чтобы человек, хорошо воспитанный, мог заниматься полезною деятельностью и не отклоняться от прямого пути, ему показанного, для этого мало одного воспитания, нужно *учение*, которое обогащает человека познаниями, разнообразными сведениями, с помощью которых он становится в состоянии приносить существенную, благоую пользу себе и другим. Учение, таким образом, изоощряет те способности, которыми всеблагое Провидение одарило человека, подобно тому как мудрость изоощряется превратностями и опытами жизни.

Продолжаю разбирать далее слово «*просвещение*». Оно происходит от глагола «светить». «Светить» так же, как и «питать», означает действие физическое: делать предметы ясными, видными для глаз. «Просветить» же значит сделать так, чтобы свет проникал по всем направлениям. Но в отвлеченном смысле «светить» значит «делать ясным наш ум и наше сердце, просветить ярким светом, озарить всю нашу внутренность, наш дух». Тогда, при этом светлом просвещенном уме, при этом чистом, светящемся радостным блеском сердце, человек способен верно, отчетливо понимать вещи; способен воспринимать в свою душу все светлое и прекрасное, он чужд заблуждений и предрассудков, этих спутников мрака и невежества.

Итак, не все равно сказать «человек ученый» и «человек просвещенный», ибо ученый — и тот, кто выучен чему-

нибудь одному, какому-нибудь определенному знанию; ученый может и не иметь никаких более достоинств: он может обладать ясным взглядом на один известный ряд предметов и не быть в состоянии по достоинству ценить других, не подходящих к сфере его знания, но просвещенный должен иметь не только светлый, прямой ум, чуждый предрассудков, но и доброе сердце, прекрасную душу.

Гораздо высший и обширнейший смысл заключается в слове «*образование*». Оно выражает понятие об окончательном и самом высшем развитии духа человеческого. Оно происходит от глагола «образовать», что значит «дать образ, дать вид чему-нибудь». Так художник куску мрамора дает вид божества, и та же, недавно мертвая глыба камня в новом образе наполняет наше сердце высоким божественным восторгом. Следовательно, «образовать» означает «дать не какой-либо произвольный образ предмету, но образ возможно лучший, возможно совершеннейший». Образование в этом смысле равняется созиданию: оттого-то, взирая на прекрасный лик Мадонны, мы удивляемся его совершенству, нас поражает и эта удивительная правильность в сочетании частей, и колорит красок, и этот свет божественности, которым облито, озарено чудное, бессмертное создание великого художника. Невольно спрашиваешь: откуда он берет эти черты для своего произведения?.. И видим, что напрасно было бы искать в природе подобного совершенного предмета, какой создает художник, а потому мы говорим: «Это совершенство, это идеал», — т.е. представление предмета самого совершенного, может быть, и не существующего в природе, но тем не менее истинного и действительного.

Переходя от искусств, в которых «образовать» значит дать совершеннейший, идеальный вид или образ предмету, и перенося это понятие к человеку как существу нравственному, мы заключаем, что «образование» выражает понятие о таком действии, при помощи которого дается совершеннейший вид, идеальный образ нашему духу, т.е. нашему уму, сердцу и воле... Образование человека, следовательно, имеет целью довести его ум до полной степени развития и совершенства во всех отношениях, т.е. чтобы сфера предметов, в

которой он должен вращаться, была ему совершенно известна, чтобы он не односторонне или только один род предметов понимал как ученый, чтобы для него не только все предметы были ясны как для просвещенного, но чтобы этот совершенный ум и ясно, точно судил о предметах, и глубоко бы мог вникать в них, чтобы самая внутренняя, самая сокровенная сторона предмета была совершенно для него ясна, как и наглядный предмет; мало того, образованный ум должен еще понимать, видеть внутреннюю связь, эту гармонию между предметами, чтобы вся вселенная познаний не была ему чужда. Также «образовать сердце» значит произвести такое сердце, которое все прекрасное, все идеальное любило бы с одинаковою страстию, которое трепетало бы от радости и удовольствия при виде изящного, милого, сердце, которое всегда готово лететь к прекрасному с одинаковым желанием, а не такое сердце, которое прилепилось бы к одному предмету, любило односторонне что-либо... Наконец, чтобы вполне «образовать» человека, должно еще дать совершенный вид его воле, т.е. сделать ее такою, чтобы она стремилась только к благу, к истине и удалялась бы от пороков и неправды.

Только при выполнении всех этих условий человек может быть истинным человеком в полном смысле этого слова, т.е. он будет приближаться к тому идеалу совершенства человеческого, который преподан нам в божественном учении нашего Спасителя.

Таким образом, отчетливое и сознательное изучение отечественного языка раскрывает перед нами всю полноту и богатство идей, заключающихся в неисчерпаемой сокровищнице нашего родного слова. И если мы убеждаемся в этом через изучение нашего языка, еще столь юного и свежего, то по справедливости можем заключать, к каким бесконечно разнообразным результатам духовного развития он призывает нас в будущем, ибо нет сомнения, что бесконечно разнообразное развитие суждено самою природою тому, кто заключает такую полноту и силу жизни еще в семени.

Будем же любить наш богатый и славный язык, в котором заключается и поучительное выражение настоящего, и многообещающий глагол нашего будущего!..

Именной указатель

- Бакунин М.А. 9, 36, 70, 71, 79, 87, 95, 138, 169, 188
- Бакунина Л.А. 89, 90–92, 95, 99, 104, 105
- Белинский В.Г. 6, 9, 35, 36, 37, 55, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 95, 104, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 138, 140, 169
- Белкин И.Д. 160
- Бенкендорф А.Х. 7, 18, 80
- Берсей У.Х. 160
- Боткин С.П. 35, 36, 104, 119, 126, 138
- Брянчанинов И.А. 164, 183, 184, 185
- Брянчанинов П. А. 164, 173, 175, 176, 183, 184, 185
- Булгарин Ф.В. 72, 73
- Венецианов А.Г. 9, 62
- Вердер К. 85, 97, 98, 116
- Воронов Н.И. 10, 165, 166, 167, 168, 188, 190
- Воронцов М.С. 152, 161
- Герцен А.И. 6, 9, 11, 18, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 49, 75, 85, 86, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 138, 139, 140, 168, 169, 170, 187, 188, 190
- Гессе П.И. 143, 144
- Гете И.В. 23, 46, 85, 86, 87, 98, 99, 100, 141, 189
- Гоголь Н.В. 9, 118, 169
- Голлендер Э. 140, 141, 142, 146, 193
- Грановский Т.Н. 6, 9, 35, 85, 87, 89, 92, 93, 95, 97, 98, 102, 105, 116, 117, 120, 138, 139, 140, 168, 196
- Гребенка Е.П. 9, 85
- Дохтурова М.А. 33, 34, 44
- Жуковский В.А. 76, 118, 163
- Завадовский Н.С. 159
- Илlyашенко Ф.Д. 160
- Камашев И.Н. 22, 23, 24, 87, 172
- Камынина Н.С. 55, 57, 58, 144
- Каченовский М.Т. 28, 73
- Кашкаров П.А. 14, 17, 18
- Кольцов А.В. 68, 74, 75, 76, 77, 119, 120, 138
- Костенецкий Я.И. 49, 59, 144
- Краевский А.А. 61, 62, 76, 106

- Лермонтов М.Ю. 9, 36, 75, 118, 145, 153, 171
- Лихонин М.Н. 22, 23, 24, 26, 33, 38, 47, 87, 172
- Лопатин Г.А. 10
- Мельгунов Н.А. 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 66, 67, 87, 188, 195
- Мерзляков А.Ф. 25, 28, 52
- Надеждин Н.И. 53, 77, 79, 80–84
- Неверов М.Г. 11, 12, 13, 14
- Неверова А.П. 11, 12, 14, 15, 21
- Николаи А.П. 162, 167, 175, 182, 183, 184, 190
- Николай I 19, 49, 58, 59, 80, 109, 110, 111, 112, 144, 148, 152, 168
- Оболенский И.А. 43, 59
- Огарев Н.П. 36, 43, 49, 59, 188
- Одоевский В.Ф. 9, 57, 69, 118
- Панаев И.И. 9, 85, 118, 123, 126, 140, 170, 187
- Петр I 174
- Пирогов Н.И. 181
- Пузыревский А.Д. 160
- Пушкин А.С. 9, 50, 60, 61, 65, 66, 68, 75, 92, 93, 118, 128, 131, 133, 135, 136, 145, 182, 186, 191
- Ржевский В. 30, 32, 33, 34
- Рындовский Н.С. 159, 160
- Сербинович К.И. 61
- Станкевич Н.В. 9, 10, 35, 36, 37, 38, 40–56, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76–79, 84, 87–93, 95–105, 116, 117, 120, 137–140, 169, 193, 195–197
- Сунгуров Н.П. 43, 49, 50, 59, 137
- Тактаров З.И. 159
- Терзиев В.Д. 150, 151, 154, 155, 160–163, 166–168
- Трачевский А.С. 10, 167, 171, 199
- Уваров С.С. 52–54, 60, 61, 80, 82, 83, 107, 110, 127, 144
- Фролов Н.Г. 98, 116
- Фролова Е.П. 98, 116, 179
- Хетагуров К.Л. 9, 197
- Чаадаев П.Я. 40, 80, 83, 121–123, 126–133, 135, 136
- Шеллинг Ф.В. 23, 24, 28, 38, 48, 70, 85
- Шиллер Ф. 23, 47–41, 44, 46, 50, 54, 69, 85, 87, 99, 100, 168, 189

Сергей Владимирович Белоконь
СИНИЙ МАГИСТР

Компьютерная верстка *В. Козак*

Подписано в печать 06.08.2013. Формат издания 60x84/16.
Печ. л. 13. Тираж 600 экз. Заказ №

Московская школа политических исследований
127006, Москва,
Старопименовский переулок, д. 11/6, строение 1
Тел./факс: +7 (495) 699 01 73
E-mail: msps@msps.su <http://www.msps.ru>